

Владимир Владимирович Набоков Подвиг



«Владимир Набоков. Подвиг.»:
Издательство "ФОЛИО"; Харьков; 2001; ISBN 5-17-004938-2

Аннотация

Эта книга началась с тонкого и трагического каламбура Владимира Набокова - а стала, пожалуй, тончайшим и трагичнейшим из его произведений. Потому что велика трагедия "унесенной ветром" русской эмиграции, однако вдвое страшнее история "русских мальчиков", выросших без родины. И тогда под ногами изначально ощущается не земля - ПРОПАСТЬ. И нет места для любви, дружбы, понимания. И нет - не может быть! - уверенности в завтрашнем дне, да и во вчерашнем, по сути, тоже. А что до подвига - подвиги легко даются тем, кому нечего терять...

Владимир Набоков

Подвиг

Посвящаю моей жене

ГЛАВА I

Эдельвейс, дед Мартына, был, как это ни смешно, швейцарец, – рослый швейцарец с пушистыми усами, воспитывавший в шестидесятых годах детей петербургского помещика Индрикова и женившийся на младшей его дочери. Мартын сперва полагал, что именно в честь деда назван бархатно-белый альпийский цветок, баловень гербариев. Вовсе отказаться от этого он и позже не мог. Деда он помнил ясно, но только в одном виде, в одном положении: старик, весь в белом, толстый, светлоусый, в панамской шляпе, в пикейном жилете, богатым брелоками (из которых самый занимательный – кинжал с ноготок), сидит на скамье перед домом, в подвижной тени липы. На этой скамье дед и умер, держа на ладони любимые золотые часы, с крышкой как золотое зеркальце. Апоплексия застала его на этом своевременном жесте, и строка, по семейному преданию, остановилась вместе с его сердцем. Затем дедушка Эдельвейс годами сохранялся в грузном кожаном альбоме; в его время снимали со вкусом, с расстановкой, это была операция не шуточная, пациент должен был замереть надолго, – еще не пришло, вместе с моментальной фотографией, разрешение на улыбку. Сложностью светописси объяснялись увесистость и крепость бравых дедушкиных поз на бледноватых, но очень добротных фотографиях, – дедушка в молодости, с ружьем, с убитым вальдшнепом у ног, дедушка на кобыле Дэзи, дедушка на полосатой верандовой лавке, с черной таксой, не хотевшей сидеть смирно, а потому получившейся с тремя хвостами. И только в тысяча девятьсот восемнадцатом году дедушка Эдельвейс исчез окончательно, ибо сгорел альбом, сгорел стол, где альбом лежал, сгорела и вся усадьба, которую, по глупости, спалили целиком, вместо того, чтобы пожить обстановкой, мужички из ближней деревни.

Отец Мартына врачевал кожные болезни, был знаменит, – тоже, как и дед, бел и тучен, любил в свободное время удить бычков и обладал великолепной коллекцией кинжалов, сабель, а также длинных старинных пистолетов, из-за которых приверженцы более новых систем чуть его не расстреляли. Весной восемнадцатого года он отяжелел, распух, стал задыхаться и умер при неясных обстоятельствах. Его жена, Софья Дмитриевна, жила в то время с сыном под Ялтой: городок примерял то одну власть, то другую, и все привередничал.

Это была розовая, веснушчатая, моложавая женщина, с копной бледных волос, с приподнятыми бровями, густоватыми у переносицы, но почти незаметными поближе к вискам, и со щелками в удлиненных мочках нежных ушей, которые прежде она пронимала сережками. Еще недавно она сильно и ловко играла в теннис на площадке в парке, существовавшей с восьмидесятых годов, осенью много каталась на черном велосипеде Энфильд по аллеям, по шумно шуршащим коврам сухих листьев, или отмахивала пешком по упругой обочине весь длинный, с детства любимый путь между Ольховым и Воскресенским, поднимая и опуская, как заправский ходок, конец дорогой трости с коралловым набалдашником. В Петербурге она слыла англomanкой и славу эту любила, красноречиво говорила о бойскаутах, о Кипплинге, и находила совершенно особое удовольствие в частых посещениях Дрюса, где, уже на лестнице, перед большой рекламой (женщина, сочно намыливающая голову мальчишке), приветствовал вас замечательный запах мыла, лаванды, с примесью еще чего-то, говорившего о резиновых ваннах, футбольных мячах и круглых, тяжеленьких, туго спеленутых рождественских пудингах. И разумеется, первые книги Мартына были на английском языке: Софья Дмитриевна, как чумы, боялась “Задушевного Слова” и внушила сыну такое отвращение к титулованным смуглянкам Чарской, что и впоследствии Мартын побаивался всякой книги, написанной женщиной, чувствуя и в лучших из этих книг бессознательное стремление немолодой и, быть может, деbeatой дамы нарядиться в смазливое имя и кошечкой свернуться на канaпе. Софья Дмитриевна не терпела уменшительных, следила за собой, чтобы их не употреблять, и сердилась, когда муж говаривал: “У мальчугана опять ка-

шелек, посмотрим, нет ли температурки”. Русская же литература для детей кишмя кишела сюсюкающими словами, или же грешила другим – нравоучительством.

Если фамилия деда Мартына цвела в горах, то девичья фамилия бабки, волшебным происхождением разнясь от Волковых, Куницыных, Белкиных, относилась к русской сказочной фауне. Дивные звери рыскали некогда по нашей земле. Но русскую сказку Софья Дмитриевна находила аляповатой, злой и убогой, русскую песню – бессмысленной, русскую загадку – дурацкой и плохо верила в пушкинскую няню, говоря, что поэт ее сам выдумал вместе с ее побасками, спицами и тоской. Таким образом, Мартын в раннем детстве не узнал иного, что впоследствии сквозь самоцветную волну памяти могло бы прибавить к его жизни еще одно очарование, но очарований было и так вдосталь, и ему не приходилось жалеть, что не Ерусланом, а западным братом Еруслана, было в детстве разбужено его воображение. Да и не все ли равно, откуда приходит нежный толчок, от которого трогается и катится душа, обреченная после сего никогда не прекращать движения.

ГЛАВА II

Над маленькой, узкой кроватью, с белыми веревчатыми решетками по бокам и с иконкой в головах (в грубоватой прорези фольги – лаково-коричневый святой, а малиновый плюш на исподе подъеден не то молю, не то самим Мартыном), висела на светлой стене акварельная картина: густой лес и уходящая вглубь витая тропинка. Меж тем, в одной из английских книжонок, которые мать читывала с ним, – и как медленно и таинственно она произносила слова, доходя до конца страницы, как таращила глаза, положив на нее маленькую белую руку в легких веснушках и спрашивая: “Что же, ты думаешь, случилось дальше?” – был рассказ именно о такой картине с тропинкой в лесу прямо над кроватью мальчика, который однажды, как был, в ночной рубашке, перебрался из постели в картину, на тропинку, уходящую в лес. Мартына волновала мысль, что мать может заметить сходство между акварелью на стене и картинкой в книжке: по его расчету, она, испугавшись, предотвратила бы ночное путешествие тем, что картину бы убрала, и потому всякий раз, когда он в постели молился перед сном (сначала коротенькая молитва по-английски – “Иисусе нежный и кроткий, услышь маленького ребенка”, – а затем “Отче Наш” по-славянски, причем какого-то Якова мы оставляли должникам нашим), быстро лепеча и стараясь коленями встать на подушку, – что мать считала недопустимым по соображениям аскетического порядка, – Мартын молился о том, чтобы она не заметила соблазнительной тропинки как раз над ним. Вспоминая в юности то время, он спрашивал себя, не случилось ли и впрямь так, что с изголовья кровати он однажды прыгнул в картину, и не было ли это началом того счастливого и мучительного путешествия, которым обернулась вся его жизнь. Он как будто помнил холодок земли, зеленые сумерки леса, излучи тропинки, пересеченной там и сям горбатым корнем, мелькание стволов, мимо которых он босиком бежал, и странный темный воздух, полный сказочных возможностей.

Бабушка Эдельвейс, рожденная Индрикова, ревностно занимаясь акварелью во дни молодости, вряд ли предвидела, когда мешала на фарфоровой палитре синенькую краску с желтенькой, что в этой рождающейся зелени будет когда-нибудь плутать ее внук. Волнение, которое Мартын узнал, и которое с той поры, в различных проявлениях и сочетаниях, всегда уже сопровождало его жизни, было как раз тем чувством, которое мать и хотела в нем развить, – хотя сама бы затруднилась подыскать этому чувству название, – знала только, что нужно каждый вечер питать Мартына тем, чем ее самое питала когда-то покойная гувернантка, старая, мудрая госпожа Брук, сын которой собирал орхидеи на Борнео, летал на аэростате над Сахарой, а погиб от взрыва котла в турецкой бане. Она читала, и Мартын слушал, стоя в кресле на коленях и облокотясь на стол, и было очень трудно кончить, увести его спать, он все просил еще и еще. Иногда она носила его по лестнице в спальню на спине, и это называлось “дровосек”. Перед сном он получал из жестяной коробки, оклеенной голубой бумагой, английский бисквит. Сверху были замечательные сорта с сахарными нашлепками, поглубже – печенья имбирные, кокосовые, а в грустный вечер, когда он доходил до дна, приходилось довольствоваться третьеклассной породой, – простой и пресной.

И все шло Мартыну в прок, – и хрустящее английское печенье, и приключения Артуровых рыцарей, – та сладкая минута, когда юноша, племянник, быть может, сэра Тристрама, в первый раз надевает по частям блестящие выпуклые латы и едет на свой первый поединок; и какие-то далекие, круглые острова, на которые смотрит с берега девушка в развевающихся одеждах, держащая на кисти сокола в клубочке; и Синдбад, в красной платке, с золотым кольцом в ухе; и морской змий, зелеными шинами торчащий из воды до самого горизонта; и ребенок, нашедший место, где конец радуги уткнулся в землю; – и, как отголосок всего этого, как чем-то родственный образ, – чудесная модель длинного фанерно-коричневого вагона в окне общества спальных вагонов и великих международных экспрессов, – на Невском проспекте, в тусклый морозный день с легкой заметью, когда приходится носить черные вязаные рейтузы поверх чулок и штанишек.

ГЛАВА III

Она любила его ревниво, дико, до какой-то душевной хрипоты, – и, когда она с ним, после размолвки с мужем, поселилась отдельно, и Мартын по воскресеньям посещал квартиру отца, где подолгу возился с пистолетами и кинжалами, меж тем как отец спокойно читал газету и, не поднимая головы, изредка отвечал “да, заряженный” или “да, отравленный”, Софья Дмитриевна едва могла усидеть дома, мучась вздорной мыслью, что ее ленивый муж нет-нет да и предпримет что-нибудь, – удержит сына при себе. Мартын же был с отцом очень ласков и учтив, стараясь по возможности смягчить наказание, ибо считал, что отец удален из дому за провинность, за то, что как-то, на даче, летним вечером, сделал нечто такое с роялем, отчего тот издал совершенно потрясающий звук, словно ему наступили на хвост, – и на другой день отец уехал в Петербург и больше не возвращался. Это было как раз в год, когда убили в сарае австрийского герцога, – Мартын очень живо представил себе этот сарай, с хомутами по стене, и герцога в шляпе с плюмажем, отражающего шпагой человек пять заговорщиков в черных плащах, и огорчился, когда выяснилась ошибка. Удар по клавишам произошел без него, – он в комнате рядом чистил зубы густо пенящейся, сладкой на вкус пастой, которая была особенно привлекательна следующей надписью по-английски: “Улучшить пасту мы не могли, а потому улучшили тубочку”, – и действительно отверстие было щелью, так что выжимаемая паста ложилась на щетку не червячком, а ленточкой.

Последний разговор с мужем Софья Дмитриевна вспомнила полностью, со всеми подробностями и оттенками, в тот день, когда пришло в Ялту известие о его смерти. Муж сидел у плетеного столика, осматривал кончики коротких, растопыренных пальцев, и она ему говорила, что так нельзя дальше, что они давно чужие друг другу, что она готова хоть завтра забрать сына и уехать. Муж лениво улыбался и хриловатым, тихим голосом отвечал, что она права, увы, права, и говорил, что он уедет отсюда сам, да и в городе снимет отдельную квартиру. Его тихий голос, мирная полнота, а пуще всего – пилочка, которой он во всякое время терзал мягкие ногти, выводили ее из себя, – и ей казалось, что есть чудовищное в том спокойствии, с которым они оба рассуждают о разлуке, хотя бурные речи и слезы были бы, конечно, еще ужаснее. Погодя он поднялся и, пиля ногти, принялся ходить взад и вперед по комнате, и с мягкой улыбкой говорил о житейских мелочах будущей розной жизни (нелепую роль играла при этом карета), – и вдруг, ни с того, ни с сего, проходя мимо открытого рояля, двинул со всей силы сжатым кулаком по клавишам, и это было, словно в раскрывшуюся на миг дверь ворвался нестройный вопль; после чего он прежним тихим голосом продолжал прерванную фразу, а проходя опять мимо рояля, осторожно его прикрыл.

Смерть отца, которого он любил мало, потрясла Мартына именно потому, что он не любил его как следует, а кроме того он не мог отделаться от мысли, что отец умер в немилости. Тогда-то Мартын впервые понял, что человеческая жизнь идет излучинами, и что вот, первый плес пройден, и что жизнь повернулась в ту минуту, когда мать позвала его из кипарисовой аллеи на веранду и сказала странным голосом: “Я получила письмо от Зиланова”, – а потом продолжала по-английски: “Я хочу, чтоб ты был храбрым, очень храбрым, это о твоём отце, его больше нет”. Мартын побледнел и растерянно улыбнулся, а затем долго блуждал по Воронцовскому парку, повторяя изредка детское прозвание, которое когда-то

дал отцу, и стараясь представить себе, – и с какой-то теплой и томной убедительностью себе представляя, – что отец его рядом, спереди, позади, вот за этим кедром, вон на том покато лугу, близко, далеко, повсюду.

Было жарко, хотя недавно прошел бурный дождь. Над лаковой мушмулой жужжали мясные мухи. В бассейне плавал злой черный лебедь, поводя пунцовым, словно покрашенным клювом. С миндальных деревьев облетели лепестки и лежали, бледные, на темной земле мокрой дорожки, напоминая миндали в прянике. Невдалеке от огромных ливанских кедров росла одна единственная березка с тем особым наклоном листвы (словно расчесывала волосы, спустила пряди с одной стороны, да так и застыла), какой бывает только у берез. Проплыла бабочка-парусник, вытянув и сложив свои ласточковые хвосты. Сверкающий воздух, тени кипарисов, – старых, с рыжинкой, с мелкими шишками, спрятанными за пазухой, – зеркально-черная вода бассейна, где вокруг лебедя расходились круги, сияющая синева, где вздымался, широко опоясанный каракулевой хвоей, зубчатый Ай-Петри, – все было насыщено мучительным блаженством, и Мартыну казалось, что в распределении этих теней и блеска тайным образом участвует его отец.

“Если бы тебе было не пятнадцать, а двадцать лет, – вечером того дня говорила Софья Дмитриевна, – если бы гимназию ты уже кончил, и если б меня уже не было на свете, ты бы, конечно, мог, ты, пожалуй, был бы обязан...” Она задумалась посреди слов, представив себе какую-то степь, каких-то всадников в папах и стараясь издали узнать среди них Мартына. Но он, слава Богу, стоял рядом, в открытой рубашке, под гребенку остриженный, коричневый от солнца, со светлыми, незагоревшими лучиками у глаз. “А ехать в Петербург... – вопросительно произнесла она, и на неизвестной станции разорвался снаряд, паровоз встал на дыбы...” “Вероятно это все когда-нибудь кончится, – сказала она, спустя минуту. – Пока же надо придумать что-нибудь”. “Я пойду выкупаюсь, – примирительно вставил Мартын. – Там Коля, Лида, все”. “Конечно, пойди, – сказала Софья Дмитриевна. – В общем революция пройдет, и будет странно вспоминать, и ты очень поправился в Крыму. И в ялтинской гимназии как-нибудь доучишься. Посмотри, как там хорошо освещено, правда?”

Ночью оба, и мать и сын, не могли уснуть и думали о смерти. Софья Дмитриевна, стараясь думать тихо, то есть не всхлипывать и не вздыхать (дверь в комнату сына была полукругом открыта), опять вспоминала, подробно и щепетильно, все то, что привело к разрыву с мужем, и, проверяя каждое мгновение, она ясно видела, что тогда-то и тогда-то нельзя было ей поступить иначе, и все-таки таилась где-то ошибка, и все-таки, если бы они не расстались, он не умер бы так, один, в пустой комнате, задыхающийся, беспомощный, вспоминающий, быть может, последний год их счастья (не ахти какого счастья) и последнюю заграничную поездку, Биарриц, прогулку на Круа-де-Мугер, галерейки Байонны. Была некая сила, в которую она крепко верила, столь же похожая на Бога, сколь похожи на никогда не виденного человека его дом, его вещи, его теплица и пасека, далекий голос его, случайно услышанный ночью в поле. Она стеснялась эту силу назвать именем Божиим, как есть Петры и Иваны, которые не могут без чувства фальши произнести Петя, Ваня, меж тем, как есть другие, которые, передавая вам длинный разговор, раз двадцать просмакуют свое имя и отчество, или еще хуже – прозвище. Эта сила не вязалась с церковью, никаких грехов не отпускала и не карала, – но просто было иногда стыдно перед деревом, облаком, собакой, стыдно перед воздухом, так же бережно и свято несущим дурное слово, как и доброе. И теперь, думая о неприятном, нелюбимом муже и о его смерти, Софья Дмитриевна, хотя и повторяла слова молитв, родных ей с детства, на самом же деле напрягала все силы, чтобы, подкрепившись двумя-тремя хорошими воспоминаниями, – сквозь туман, сквозь большие пространства, сквозь все то, что непонятно, – поцеловать мужа в лоб. С Мартыном она никогда прямо не говорила о вещах этого порядка, но всегда чувствовала, что все другое, о чем они говорят, создает для Мартына, через ее голос и любовь, такое же ощущение Бога, как то, что живет в ней самой. Мартын, лежавший в соседней комнате и нарочито храпевший, чтобы мать не думала, что он бодрствует, тоже мучительно вспоминал, тоже пытался осмыслить смерть и уловить в темной комнате посмертную нежность. Он думал об отце всей силой души, производил даже некоторые опыты, говорил себе: если вот сейчас скрипнет половица, или что-то стукнет, значит, он меня слышит и отвечает... Делалось страшно ждать стука, было душно и тягостно, шумело море, тонко пели комары. А то вдруг он с совершенной ясностью ви-

дел полное лицо отца, его пенсне, светлые волосы бобриком, круглый родимый прыщ у ноздри и блестящее, из двух золотых змеек, кольцо вокруг узла галстука, – а когда он, наконец, уснул, то увидел, что сидит в классе, не знает урока, и Лида, почесывая ногу, говорит ему, что грузины не едят мороженого.

ГЛАВА IV

Ни Лиде, ни ее брату он не сообщил о смерти отца, – потому не сообщил, что вряд ли бы удалось выговорить это естественно, а сказать с чувством было бы непристойно. Сызмала мать учила его, что выражать вслух на людях глубокое переживание, которое тотчас на вольном воздухе выветривается, линияет и странным образом делается схожим с подобным же переживанием другого, – не только вульгарно, но и грех против чувства. Она не терпела надгробных лент с серебряными посвящениями “Юному Герою” или “Нашей Незабвенной Дочурке” и порицала тех чинных, но чувствительных людей, которые, потеряв близкого, считают возможным публично исходить слезами, однако в другое время, в день удач, распираемые счастьем, никогда не позволяют себе расхохотаться в лицо прохожим. Однажды, когда Мартыну было лет восемь, он попытался наголо остричь мохнатую дворовую собачку и нечаянно порезал ей ухо. Стесняясь почему-то объяснить, что он, отхватив лишние лохмы, собирался выкрасить ее под тигра, Мартын встретил негодование матери стоическим молчанием. Она велела ему спустить штаны и лечь ничком. В полном молчании он сделал это, и в полном же молчании она его отстегала желтым стеком из бычьей жилы; после чего он подтянул штаны, и она помогла ему пристегнуть их к лифчику, так как он это делал криво. Мартын ушел в парк и только там дал себе волю, тихо извыл душу, заедая слезы черникой, а Софья Дмитриевна тем временем разливалась у себя в спальне и вечером едва не заплакала вновь, когда Мартын, очень веселый и пухлый, сидел в ванне, подталкивая целлулоидного лебедя, а потом встал, чтобы дать себе намылить спину, и она увидела на нежных частях ярко-розовые полосы. Экзекуция такого рода произведена была всего раз, и конечно Софья Дмитриевна никогда не замахивалась на него по всякому пустяковому поводу, как это делают француженки и немки.

Рано научившись сдерживать слезы и не показывать чувств, Мартын в гимназии поражал учителей своей бесчувственностью. Сам же он вскоре открыл в себе черту, которую следовало особенно ревниво скрывать, и в пятнадцать лет, в Крыму, это служило причиной некоторого мучения. Мартын заметил, что иногда он так боится показаться немужественным, прослыть трусом, что с ним происходит как раз то, что произошло бы с трусом, кровь отливает от лица, в ногах дрожь, туго бьется сердце. Признавшись себе, что подлинного, врожденного хладнокровия у него нет, он все же твердо решил всегда поступать так, как поступил бы на его месте человек отважный. При этом самолюбие было у него развито чрезвычайно. Коля, Лидин брат, был одних с ним лет, но худосочен и мал ростом. Мартын чувствовал, что, без особого труда, положил бы его на лопатки. Однако, его так нервил возможность случайного поражения, и с такой отвратительной яркостью он его себе представлял, что ни разу не попробовал вступить с Колей, с одноклассником, в борьбу, но зато охотно принимал вызов Владимира Иваныча, двадцатилетнего корнета с мускулами, как булыжники, через полгода убитого под Мелитополем, который жестоко мят его, ломал и после изнурительной возни придавливал его наконец, красного и ослабленного, к траве. А то случилось раз, что Мартын возвращался домой из Адреиза, где жила Лидина семья, ночью, летней крымской ночью, местами иссиня-черной от кипарисов, местами же бледной, как мел, от неживой белизны татарских стен против луны, и вдруг на повороте узкой кремнистой дороги, ведущей на шоссе, выросла перед ним фигура человека, и густой голос спросил: “Кто идет?” Мартын с досадой отметил, что сердце забилося часто. “Э, да это – Умерахмет”, – грозно сказал человек и слегка придвинулся сквозь рваную черную тень, скользнувшую по его лицу. “Нет, – сказал Мартын. – Пропустите, пожалуйста.” “А я говорю, что Умерахмет”, – тихо, но еще грознее, повторил тот, и тут Мартын заметил при вспышке луны, что у него в руке крупный револьвер. “А ну-ка, становись к стенке”, – проговорил человек, сменив угрозу на примирительную деловитость. Бледную руку с черным револьвером поглотила набе-

жавшая тень, но точка блеска осталась на том же месте. Мартыну представлялись две возможности, – первая: добиться разъяснения, вторая: шарахнуть в темноту и бежать. “Мне кажется, вы меня принимаете за другого”, – неловко выговорил он и назвал себя. “К стенке, к стенке”, – дискантом крикнул человек. “Тут никакой стенки нет”, – сказал Мартын. “Я подожду, пока будет”, – загадочно заметил человек и, хрустнув камушками, не то опустился на корточки, не то присел, – в темноте было не разглядеть. Мартын все стоял, чувствуя как бы легкий зуд по всей левой стороне груди, куда должно быть метил невидимый теперь ствол. “Если двинешься, убью”, – совсем тихо сказал человек и еще что-то добавил, неразборчивое. Мартын постоял, постоял, мучительно пытаясь придумать, что сделал бы на его месте безоружный смельчак, ничего не придумал и вдруг спросил: “Не хотите ли папиросу, у меня есть?” Он не знал, почему это вырвалось, ему сразу стало стыдно, особенно потому, что его предложение осталось без ответа. И тогда Мартын решил, что единственное, чем он может искупить стыдное слово, это прямо пойти на человека, повалить его, буде нужно, но пройти. Он подумал о завтрашнем пикнике, о залитых ровным рыже-золотым загаром, словно лаком, Лидиных ногах, представил себе, что может быть отец ждет его в эту ночь, может быть делает кое-какие приготовления ко встрече, и почувствовал к нему странную неприязнь, за которую впоследствии долго себя корил. Шумело и через одинаковые промежутки бухало море, заводным звонким стрепетом подгоняли друг друга кузнечики, а этот болван в темноте... Мартын заметил, что прикрывает ладонью сердце, и, в последний раз назвав себя трусом, резко двинулся вперед. И ничего не случилось. Он споткнулся о ногу человека, и тот ее не убрал. Сгорбясь, опустив голову, человек сидел, тихо похрапывая, и сытно, густо несло от него винушкой.

Благополучно добравшись до дому, выпавшись и выйдя утром на увитый глициниями балкон, Мартын пожалел, что не обезоружил пьяного шатуна: отнятым револьвером он бы мог загадочно похвастать. Он остался собой недоволен, оказавшись, по собственному мнению, не совсем на высоте при встрече с давно желанной опасностью. Сколько раз на большой дороге своей мечты он, в бауте и сапогах с растрюбами, останавливал то дилижанс, то грузный дормез, то всадника, и дукаты купцов раздавал нищим. В бытность свою капитаном на пиратском корвете, он, стоя спиной к грот-мачте, один отбивал напор бунтующего экипажа. Его посылали в дебри Африки разыскивать Ливингстона, и, найдя его наконец – в диком лесу, в безымянной области, – он к нему подходил с учтивым поклоном, щеголяя сдержанностью. Он бежал с каторги через тропические топи, он шел к полюсу мимо удивленных, торчком стоявших, пингвинов, он на взмыленном коне, с шашкой наголо, первым врвался в мятежную Москву. И уже Мартын ловил себя на том, что задним числом прихорашивает нелепое и довольно плоское ночное происшествие, столь же похожее на подлинную жизнь, которой он жил в мечтах, сколь похож бессвязный сон на цельную и полновесную действительность. И, как иногда бывает, что, рассказывая виденный сон, мы невольно кое-что сглаживаем, округляем, подкрашиваем, чтобы поднять его хотя бы до уровня нелепости реальной, возможной, точно также Мартын, репетируя рассказ о ночной встрече (который, однако, оглашать он не собирался), делал встречного более трезвым, револьвер его более действенным и собственные слова – более остроумными.

ГЛАВА V

И в следующие дни, перекидываясь с Колей футбольным мячом или выискивая с Лидой в прибрежном галечнике мелкие морские курьезы (круглый камушек в цветном пояске, маленькую, зернисто-рыжую от ржавчины подкову, отшлифованные морем бледно-зеленые осколки бутылочного стекла, напоминавшие ему раннее детство, пляж в Биаррице), Мартын дивился ночному происшествию, сомневался, было ли оно, и все прочнее продвигал его в ту область, где пускало корни и начинало жить чудесной и самостоятельной жизнью все, что он выбирал из мира на потребу души. Нарастала, закипала пеной и кругло опрокидывалась волна, стелилась, взбегая по гальке, и, не удержавшись, соскальзывала назад при глухом бормотании разбуженных камушков, и не успевала втянуться, как уже новая, с тем же круглым, веселым плеском, опрокидывалась и прозрачным пластом вытягивалась до предела,

положенного ей. Коля подальше зашвыривал найденную дощечку, и фокстерьер Лэди, поднимая враз передние лапы, прыгал по воде и напряженно пускался вплавь. Его подхватывала очередная волна, мощно несла и за тем в полной сохранности выкладывала на берег, и фокстерьер, уронив перед собой отобранную у моря дощечку, круто отряхивался. Лида, – купавшаяся только по утрам, спозаранку, вместе с матерью и Софьей Дмитриевной, – отходила налево, к скалам (прозванным ею “Айвазовскими”), пока купались мальчики. Коля плавал по-татарски, кувырком, а Мартын гордился быстрым и правильным кролем, которому его научил англичанин-гувернер в последнее лето на севере. Ни тот, ни другой мальчик, впрочем, далеко не уплывал, – и одной из самых сладостных и жутких грез Мартына была темная ночь в пустом, бурном море, после крушения корабля, – ни зги не видать, и он один, поддерживающий над водой креолку, с которой накануне танцевал танго на палубе. После купания было удивительно приятно нагишом лечь на раскаленные камни. А смотреть, запрокинув голову, на черные кинжалы кипарисов, глубоко вдвинутые в небо. Коля, сын ялтинского доктора, проживший всю жизнь в Крыму, принимал эти кипарисы и восторженное небо, и дивно-синее, в ослепительных чешуйках, море, как нечто должное, обиходное, и было трудно завлечь его в любимые Мартыновы игры и превратить его в мужа креолки, случайно выброшенного на тот же необитаемый остров.

Вечером поднимались узкими кипарисовыми коридорами в Адреиз, и большая нелепая дача со многими лесенками, переходами, галереями, так забавно построенная, что порой никак нельзя было установить, в каком этаже находишься, ибо, поднявшись по каким-нибудь крутым ступеням, ты вдруг оказывался не в мезонине, а на террасе сада, – уже была пронизана желтым керосиновым светом, и с главной веранды слышались голоса, звон посуды. Лида переходила в лагерь взрослых, Коля, нажравшись, сразу заваливался спать; Мартын сидел в темноте на нижних ступеньках и, поедая из ладони черешни, прислушивался к веселым освещенным голосам, к хохоту Владимира Ивановича, к Лидиной уютной болтовне, к спору между ее отцом и художником Данилевским, говорливым заикой. Гостей вообще бывало много – смешливые барышни в ярких платках, офицеры из Ялты и панические пожилые соседи, уходившие скопом в горы при зимнем нашествии красных. Было всегда неясно, кто кого привел, кто с кем дружен, но хлебосольство Лидиной матери, неприметной женщины в горжетке и в очках, не знало предела. Так появился однажды и Аркадий Петрович Зарянский, долговязый, мертвенно-бледный человек, имевший какое-то смутное отношение к сцене, один из тех несуразных людей, которые разъезжают по фронтам с мелодекламацией, устраивают спектакли накануне разгрома городка, бегут покупать погоны и никак не могут добежать, и возвращаются, радостно запыхавшись, с чудесно добытым цилиндром для последнего действия “Мечты Любви”. Он был лысоват, с прекрасным, напористым профилем, но повернувшись прямо, оказывался менее благообразным: под болотцами глаз набухали мешочки, и не хватало одного резца. Человек же он был мягкий, добродушный, чувствительный и, когда по ночам все выходили гулять, пел бархатным баритоном “Ты помнишь ли – у моря мы сидели...” или рассказывал в темноте армянский анекдот, и кто-нибудь в темноте смеялся. В первый раз встретив его, Мартын с изумлением и даже с некоторым ужасом признал в нем забулдыгу, приглашавшего его стать к стенке, но Зарянский по-видимому ничего не помнил, так что осталось неясным, кто такой Умерахмет. – Пьяницей был Аркадий Петрович отменным и бушевал во хмелю, – но револьвер, который однажды снова возник, – во время пикника на Яйле, в стрекотливую ночь, пропитанную лунным светом и мускатлюнелем, – оказался с пустым барабаном. Зарянский еще долго вскрикивал, грозил, бормотал, говоря о какой-то своей роковой любви, его покрыли шинелью, и он уснул. Лида сидела близко к костру и, подперев ладонями лицо, блестящими, пляшущими, румяно-карими от огня глазами, глядела на вырывавшиеся искры. Погодя Мартын встал, разминая ноги, и, взойдя по черному муравчатому скату, подошел к краю обрыва. Сразу под ногами была широкая темная бездна, а за ней – как будто близкое, как будто приподнятое, море с цареградской стезей посередине, лунной стезей, суживающейся к горизонту. Слева, во мраке, в таинственной глубине, дрожащими алмазными огнями играла Ялта. Когда же Мартын оборачивался, то видел поодаль огненное беспокойное гнездо костра, силуэты людей вокруг, чью-то руку, бросающую сук. Стрекотали кузнечики, по временам несло сладкой хвойной гарью, – и над черной Яйлой, над шелковым морем, огромное, всепоглощающее, сизое

от звезд небо было головокружительно, и Мартын вдруг опять ощутил то, что уже ощущал не раз в детстве – невыносимый подъем всех чувств, что-то очаровательное и требовательное, присутствие такого, для чего только и стоит жить.

ГЛАВА VI

Эта искристая стезя в море так же заманивала, как некогда тропинка в написанном лесу, – а собранные в кучу огни Ялты среди широкой черноты неведомого состава и свойства напоминали опять же кое-что, виденное в детстве: девятилетний Мартын, в одной рубашке, с похолодевшими пятками, стоял на коленках у вагонного окна; южный экспресс шел по Франции. Софья Дмитриевна, уложив сына, сидела с мужем в вагоне-ресторане, горничная мертвым сном спала на верхней койке; в узком отделении было темно, только просвечивал синий задвижной колпак лампы; качалась его кисть, потрескивало в стенках. Выйдя из под простыни, добравшись по одеялу до окна, наполовину срезанного концом верхней койки, и подняв кожаную шторку, – для чего пришлось отстегнуть ее с кнопки, а тогда она гладко поехала вверх, – Мартын зяб, ощущал ломоту в коленках, но не мог оторваться от окна, за которым косогорами бежала ночь. И тогда-то он вдруг увидел то, что теперь вспомнил на Яйле, – горсть огней вдалеке, в подоле мрака, между двух черных холмов: огни то скрывались, то показывались опять, и потом заиграли совсем в другой стороне, и вдруг исчезли, словно их кто-то накрыл черным платком. Вскоре поезд затормозил и остановился во мраке. Стали доноситься странно бесплотные вагонные звуки, чей-то бубнящий голос, чей-то кашель, потом прошел по коридору голос матери, и, сообразив, что родители возвращаются из вагона-ресторана и по дороге в смежное отделение могут к нему заглянуть, Мартын проворно метнулся в постель. Погодя поезд двинулся, но вскоре стал окончательно, издав длинный, тихо свистящий вздох облегчения, причем по темному купе медленно прошли бледные полосы света. Мартын снова пополз к стеклу, и был за окном освещенный дебаркадер, и с глухим стуком человек катил мимо железную тачку, а на ней был ящик с таинственной надписью “Fragile”¹. Мошки и одна большущая бабочка кружились вокруг газового фонаря; смутно шаркали по платформе, переговариваясь на ходу о неизвестном, какие-то люди; и затем поезд лязгнул буферами и поплыл, – прошли и ушли фонари, появился и тоже прошел ярко озаренный снутри стеклянный домик с рядом рычагов, – качнуло, поезд перебрал рельсы, и все потемнело за окном, – опять бегущая ночь. И снова, откуда ни возьмись, уже не между двух холмов, а как-то гораздо ближе и осязательнее, повысыпали знакомые огни, и паровоз так томительно, так заунывно свистнул, что казалось, и ему жаль расстаться с ними. Тут сильно хлопнуло что-то, и проскочил встречный поезд, проскочил, и как будто его и не было вовсе, – опять бежала волнистая чернота, и медленно редели неуловимые огни.

Когда они навсегда закатились, Мартын укрепил шторку и лег, а проснулся очень рано, и ему показалось, что поезд идет плавнее, развязнее, словно принаровился к быстрому бегу. И когда он шторку отстегнул, то почувствовал мгновенное головокружение, ибо в другую сторону, чем накануне, бежала земля, и ранний пепельно-бледный свет ясного неба тоже был неожиданный, и совершенно были внове террасы олив по склонам.

Со станции поехали в Биарриц в наемном ландо, пыльной дорогой, окаймленной пыльной ежевикой, и, так как ежевику Мартын видел впервые, а станция почему-то звалась Негритянкой, он был полон вопросов. В пятнадцать лет он сравнивал крымское море с морем в Биаррице: да, бискайские волны были выше, прибой сильнее, – и толстый беньер-баск в черном, всегда мокром трико (“гибельная профессия”, – говорил отец) брал Мартына за руку, вел его в мелкую воду, затем оба поворачивались спиной к прибою, и с грохотом налетала сзади огромная волна, потопляя и опрокидывая весь мир. На первой, зеркальной полосе пляжа буролицая женщина с седыми завитками на подбородке встречала выкупавшихся, накидывала им на плечи мохнатые простыни, а дальше, в пахнувшей смолой кабинке, служитель помогал сдернуть липкий костюм и приносил шайку горячей воды, почти кипятка, куда полагалось погрузить ноги. Затем, одевшись, сидели на пляже, – мать в большой белой

¹ Бьющееся (франц.)

шляпе, под белым нарядным зонтиком, отец тоже под зонтиком, но мужским, изабеллового цвета; Мартын же, в завороченных до паха штанишках, полосатой фуфайке и загорелой соломенной шляпе с английской надписью на ленте вокруг тульи (Его Величества “Непобедимый”), строил из песка крепость, окруженную рвами. Проходил вафельник в берете, со скрежетом вертел рукояткой красного жестяного бочонка с товаром, и большие, гнутые куски вафли, смешанные с летучим песком и морской солью, остались одним из живейших воспоминаний той поры. А за пляжем, на каменной променаде, заливаемой в непогоду волной, бойкая, немолодая, нарумяненная цветочница продевала гвоздику в петлицу отцовского белого пиджака, и отец при этом смешно и добродушно смотрел на процедуру продевания, выпятив нижнюю губу и прижав наморщенный подбородок к отвороту. Было жалко покинуть в конце сентября веселое море и белую виллу с корявой смоковницей в саду, все не хотевшей дать хоть один зрелый плод. На обратном пути остановились месяца на полтора в Берлине, где по асфальтовым мостовым с треском прокатывали мальчишки на роликах, – а иногда даже взрослый с портфелем подмышкой. И были изумительные игрушечные магазины (локомотивы, туннели, виадук), и теннис за городом, на Курфюрстендаме, и звездная ночь Винтергартена, и поездка в сосновые леса Шарлоттенбурга свежим и ясным днем в белом электрическом таксомоторе. На границе Мартын спохватился, что забыл в вагоне вставочку со стеклышком, в котором, ежели приложить глаз, вспыхивал перламутрово-синий пейзаж, а во время обеда на вокзале (рябчики с брусникой) проводник ее принес, и отец дал ему рубль. В Вержболове было снежно, морозно, на тендере вздымалась целая гора дров, багровый русский паровоз был снабжен расчистным веером, обильный белый пар, клубясь, выливался из огромной трубы с широким развалом. Норд-Экспресс, обрусев в Вержболове, сохранил коричневую облицовку, но стал по новому степенным, широкобоким, жарко отопленным, и не сразу давал полный ход, а долго раскачивался после остановки. В голубом коридоре было очень приятно примоститься на откидном сидении у окна, и мимоходом погладил Мартына по голове толстый зобатый проводник в шоколадном мундире. За окном тянулись белые поля, кое-где над снегом торчали ветлы; у шлагбаума стояла женщина в валенках, с зеленым флагом в руке; мужик, соскочив с дровней, закрывал рукавицами глаза пятившейся лошаденке. А ночью было нечто особенное: мимо черного зеркального стекла пролетали тысячи искр огненным стрелчатым росчерком.

ГЛАВА VII

Вот с того года Мартын страстно полюбил поезда, путешествия, дальние огни и раздирающие вопли паровозов в темноте ночи, и яркие паноптикумы мгновенных полустанков, с людьми, которых не увидишь больше никогда. Медленный отвал, скрежет рулевой цепи, нутряная дрожь канадского грузового парохода, на котором он с матерью весной девятнадцатого года покинул Крым, ненастное море и косо хлещущий дождь – не столь располагали к дорожному волнению, как экспресс, и только очень постепенно Мартын проникся этим новым очарованием. В макинтоше, в черно-белом шарфе вокруг шеи, всюду сопровождаемая, пока его не одолело море, бледным мужем, растрепанная молодая дама, дуя на волосы, щекотавшие ей лицо, расхаживала по палубе, и в ее фигуре, в летающем шарфе, Мартын почувствовал все то драгоценное, дорожное, чем некогда его пленяли клетчатая кепка и замшевые перчатки, надеваемые отцом в вагоне, или крокодиловой кожи сумка на ремешке через плечо у девочки-француженки, с которой было так весело рыскать по длинному коридору экспресса, вправленному в летучий ландшафт. Одна только эта молодая дама выглядела примерной путешественницей, – не то, что остальные люди, которых согласился взять на борт, чтобы не возвращаться порожняком, капитан этого легкомысленно зафрахтованного судна, не нашедшего в одичалом Крыму товара. Несмотря на обилие багажа, безобразного, спешно собранного, с веревками вместо ремней, было почему-то впечатление, что все эти люди уезжают налегке, случайно; формула дальних странствий не могла вместить их растерянность и уныние, – они словно бежали от смертельной опасности. Мартына как-то мало тревожило, что оно так и есть, что вон тот спекулянт с пепельным лицом и с каратами в нательном поясе, останься он на берегу, был бы и впрямь убит первым же красноармейцем, лакомым до

алмазных потрохов. И берег России, отступивший в дождевую муть, так сдержанно, так просто, без единого знака, который бы намекал на сверхъестественную продолжительность разлуки, Мартын проводил почти равнодушным взглядом, и, только когда все исчезло в тумане, он вдруг с жадностью вспомнил Адреиз, кипарисы, добродушный дом, жители которого отвечали на удивленные вопросы неусидчивых соседей: “Да где ж нам жить, как не в Крыму?” И воспоминание о Лиде окрашено было иначе, чем тогдашние, действительные их отношения: он вспоминал, как однажды, когда она жаловалась на комариный укус и чесала покрасневшее сквозь загар место на икре, он хотел показать ей, как нужно сделать ногтем крест на вздутии от укуса, а она его ударила по кисти, ни с того, ни с сего. И прощальное посещение он вспомнил, – когда они оба не знали, о чем говорить, и почему-то все говорили о Коле, ушедшем в Ялту за покупками, и какое это было облегчение, когда он наконец пришел. Длинное, нежное лицо Лиды, в котором было что-то ланье, теперь являлось Мартыну с некоторой назойливостью. И, лежа на кушетке под тикающими часами в каюте капитана, с которым он очень подружился, или в благоговейном молчании разделяя вахту первого помощника, оспой выщербленного канадца, говорившего редко и с особенным жеванным произношением, но обдавшего сердце Мартына таинственным холодком, когда он однажды ему сообщил, что старые моряки на покое все равно никогда не садятся, внуки сидят, а дед ходит, море остается в ногах, – привыкая ко всему этому морскому новоселью, к маслянистым запахам, к качке, к разнообразным странным сортам хлеба, из которых один был вроде просфоры, Мартын все уверял себя, что он пустился в странствие с горя, отпевает несчастную любовь, но что, глядя на его спокойное, уже обветренное лицо, никто не угадает его переживаний. Возникали таинственные, замечательные люди: был канадец, зафрахтовавший судно, угрюмый пуританин, чей макинтош висел в капитанской, безнадежно испорченной уборной маяча прямо над доской; был второй помощник, по фамилии Паткин, еврей родом из Одессы, смутно вспоминая сквозь американскую речь очертания русских слов; а среди матросов был один Сильвио, американский испанец, ходивший всегда босиком и носивший при себе кинжал. Капитан однажды появился с ободранной рукой, говорил сперва, что это сделала кошка, но затем Мартыну по дружбе поведал, что рассадил ее о зубы Сильвио, которого ударил за пьянство на борту. Так Мартын приобщался к морю. Сложность, архитектурность корабля, все эти ступени, и закоулки, и откидные дверцы, вскоре выдали ему свои тайны, и потом уже было трудно найти закоулок, еще незнакомый. Меж тем дама в полосатом шарфе, как будто разделяя Мартынову любознательность, мелькала в самых неожиданных местах, всегда растрепанная, всегда смотрящая вдаль, и уже на второй день ее муж слег, мотался на клеенчатой лавке в кают-компании, без воротничка, а на другой лавке лежала Софья Дмитриевна, с долькой лимона в губах. По временам и Мартын чувствовал сошную пустоту под ложечкой и какую-то общую неустойчивость, – дама же была неугомонна, и Мартын уже наметил ее объектом для спасения в случае беды. Но, несмотря на бурное море, корабль благополучно достиг константинопольского рейда, на холодном, молочно пасмурном рассвете, и появился вдруг на палубе мокрый турок, и Паткин, считавший, что карантин должен быть обоюдный, кричал на него: “Я тебя утону!” и даже грозил револьвером. Через день двинулись дальше, в Мраморное море, и ничего от Босфора в памяти у Мартына не осталось, кроме трех-четырех минаретов, похожих в тумане на фабричные трубы, да голоса дамы в макинтоше, которая сама с собой говорила вслух, глядя на пасмурный берег; прислушавшись, Мартын различил слово “аметистовый”, но решил, что ошибся.

ГЛАВА VIII

После Константинополя небо прояснилось, хотя море осталось “очень чоппи”, как выражался Паткин. Софья Дмитриевна дерзнула выбраться на палубу, но тотчас вернулась в кают-компанию, говоря, что ничего нет в мире отвратительнее этого рабского падения и восхождения всех внутренностей по мере восхождения и падения корабельного носа. Муж дамы стонал, спрашивал Бога, когда это кончится, и поспешно, дрожащими руками, хватал тазик. Мартын, которого мать держала за кисть, чувствовал, что, ежели он сейчас не уйдет, то стошнит и его. В это время вошла, мотнув шарфом, дама, обратилась к мужу с сочув-

ственным вопросом, и муж, молча, не открывая глаз, сделал разрезательный жест ладонью по кадыку, и тогда она задала тот же вопрос Софье Дмитриевне, которая страдальчески улыбнулась. “И вы тоже, кажется, сдали, – сказала дама, строго взглянула на Мартына, и, качнувшись, перебросив через плечо конец шарфа, вышла. Мартын последовал за ней, и ему полегчало, когда пахнул в лицо свежий ветер, и открылось ярко-синее, в барашках, море. Она сидела на скрученных канатах и писала в маленькой сафьяновой книжке. Про нее на днях кто-то из пассажиров сказал, что “бабец невреден”, и Мартын, вспыхнув, обернулся, но, среди нескольких унылых пожилых господ в поднятых воротниках, не разобрал нахала. И теперь, глядя на ее красные губы, которые она все облизывала, быстро вилия карандашиком по странице, он смешался, не знал, о чем говорить, и чувствовал на губах соленый вкус. Она писала и как будто не замечала его. Меж тем, чистое, круглое лицо Мартына, его неполных семнадцать лет, известная ладность всего его очерка и движений, – что встречается часто у русских, но сходит почему-то за “что-то английское”, – вот этот самый Мартын в желтом мохнатом пальто с пояском произвел на даму некоторое впечатление.

Ей было двадцать пять лет, ее звали Аллой, она писала стихи, – три вещи, которые, казалось бы, не могут не сделать женщину пленительной. Ее любимыми поэтами были Поль Жеральди и Виктор Гофман; ее же собственные стихи, такие звучные, такие пряные, всегда обращались к мужчине на вы и сверкали красными, как кровь, рубинами. Одно из них недавно пользовалось чрезвычайным успехом в петербургском свете. Начиналось оно так:

На пурпуре шелков, под пологом ампирным,
Он всю меня ласкал, впиваясь ртом вампирным,
А завтра мы умрем, сгоревшие до тла,
Смешаются с песком красивые тела.

Дамы списывали его друг у дружки, его заучивали наизусть и декламировали, а один гардемарин даже написал на него музыку. Выйдя замуж в восемнадцать лет, она два года с лишним оставалась мужу верна, но мир кругом был насыщен рубиновым угаром греха, бритые, напористые мужчины назначали собственное самоубийство на семь часов вечера в четверг, на полночь в сочельник, на три часа утра под окнами, – эти даты путались, трудно было повсюду поспеть. По ней томился один из великих князей; в продолжение месяца докучал ей телефонными звонками Распутин. И она иногда говорила, что ее жизнь только легкий дым папиросы Режи, надушенной амброй.

Всего этого Мартын совершенно не понял. Стихами ее он был несколько озадачен. Когда он сказал, что Константинополь вовсе не аметистовый, Алла возразила, что он лишен поэтического воображения, и, по приезде в Афины, подарила ему “Песни Билитис”, дешевое издание, иллюстрированное фигурами голых подростков, и читала ему вслух, выразительно произнося французские слова, под вечер, на Акрополе, на самом, так сказать, подходящем месте. В ее разговоре Мартыну главным образом нравилась влажная манера произносить букву “р”, словно была не одна буква, а целая галерея, да еще с отражением в воде. И вместо всяких французских Билитис, петербургских белых, гитарных ночей, грешных сонетов в пять дактилических строф, он ухитрился найти в этой даме с трудно усваиваемым именем совсем другое, совсем другое. Знакомство, незаметно начавшееся на пароходе, продолжалось в Греции, на берегу моря, в одной из белых фалерских гостиниц. Софье Дмитриевне с сыном достался прескверный крохотный номер, – единственное окно выходило в пыльный двор, и там, на рассвете, со всякими мучительными приготовлениями, с предварительным похлопыванием крыл и другими звуками, хрипло и бодро начинал кричать молодой алектор. Мартын спал на твердой синей кушетке, кровать же Софьи Дмитриевны была узкая, шаткая, с ухабистым матрацем. Из насекомых жила в комнате только одна блоха, зато очень ловкая, прожорливая и совершенно неуловимая. Алла, которой посчастливилось устроиться в отличном номере с двумя кроватями, предложила взять Софью Дмитриевну к себе, а мужа перекинуть к Мартыну. Софья Дмитриевна, сказав несколько раз сряду: да что вы, да что вы, – охотно согласилась, и в тот же день состоялось перемещение. Черносвитов, большой, долговязый, мрачный, заполнил собой всю комнатку; его кровь по-видимому сразу отравила блоху, ибо она больше не появлялась; его вещи, – принадлежности для бритья, зеркальце с трещиной поперек, одеколон, кисточка, которую он всегда забывал сполоснуть, и которая стояла весь день, проклеенная серой, остывшей пеной, на подоконнике, на столе, на стуле, –

удручали Мартына, и особенно было тяжело по вечерам, когда, ложась спать, он принужден был очищать свою, Мартынову, кушетку от каких-то галстуков и нательных сеток. Раздеваясь, Черносвитов вяло почесывался, во все небо зевал; затем, поставив громадную, босую ногу на край стула и запустив пятерню в волосы, замирал в этой неудобной позе, – после чего медленно приходил опять в движение, заводил часы, ложился, долго, с кряхтением, уминал телом матрац. Через некоторое время, уже в темноте, раздавался его голос, всегда одна и та же фраза: “Главное, молодой человек, прошу вас не портить воздух”. Бреясь по утрам, он неизменно говорил: “Мазь для лица Прыщемор. В вашем возрасте необходимо”. Одеваясь, выбирая из носков предпочтительно те, в коих дырка приходилась не на пятку, а на большой палец, – залог невидимости, – он восклицал: “Эх, были когда-то и мы рысакими”, и посвистывал сквозь зубы. Все это было очень однообразно и не смешно. Мартын вежливо улыбался. Некоторым утешением, однако, служило сознание риска. В любую ночь могло случиться, что в предательском сне он отчетливо назовет полногласное имя, в любую ночь доведенный до крайности муж мог подкрасться с наточенной бритвой. Черносвитов, впрочем, употреблял безопасную бритву: с этим снаряжением он обращался так же неряшливо, как с кисточкой, и в пепельнице всегда лежал ржавый клинок с окаменевшей каемкой пены, черноватой от волосков. Его мрачность, его плоские поговорки мнились Мартыну доказательством глубокой, но сдержанной ревности. На весь день уезжая по делам в Афины, он не мог не подозревать, что его жена проводит время наедине с тем добродушным, спокойным, но выдавшим виды молодым человеком, каким воображал себя Мартын.

ГЛАВА IX

Было очень тепло, очень пыльно. В кофейнях подавали крохотную чашку со сладкой черной бурдой в придачу к огромному стакану ледяной воды. На заборах вдоль пляжа трепались афиши с именем русской певицы. Электрический поезд, шедший в Афины, наполнял праздный голубой день легким гулом, и все стихало опять. Сонные домишки Афин напоминали баварский городок. Желтые горы вдали были чудесны. На Акрополе, среди мраморного мусора, дрожали на ветру бледные маки. Прямо среди улицы, как будто невзначай, начинались рельсы, стояли вагоны дачных поездов. В садах зрели апельсины. На пустыре великолепно росло несколько колонн; одна из них упала и сломалась в трех местах. Все это желтое, мраморное, разбитое, уже переходило в ведение природы. Та же судьба ожидала в будущем новую до поры до времени гостиницу, где жил Мартын.

И, стоя с Аллой на взморье, он с холодком восторга говорил себе, что находится в далеком, прекрасном краю, – какая приправа к влюбленности, какое блаженство стоять на ветру рядом со смеющейся растрепанной женщиной: яркую юбку то швырял, то прижимал ей к коленям ветер, наполнявший когда-то парус Уллиса. Однажды, блуждая с Мартыном по неровным пескам, она оступилась, Мартын ее поддержал, она поглядела через плечо на высоко поднятую каблук вверх подошву, пошла, оступилась снова, и он, наконец решившись, впился в ее полураскрытые губы и во время этого долгого, не очень ловкого объятия, едва не потерял равновесия, она тоже пошатнулась, высвободилась и со смехом сказала, что он целуется слишком мокро, надо подучиться. Мартын ощущал в ногах возмутительную дрожь, сердце колотилось, он злился на себя за это волнение, напоминавшее минуту после школьной потасовки, когда товарищи восклицали: “Фу, как ты побледнел!” Но первый в его жизни поцелуй – замуренный, глубокий, с каким-то тонким трепыханием на дне, происхождение которого он не сразу понял, был так хорош, так щедро отвечал на предчувствия, что недовольство собой вскоре развеялось, и пустынный ветреный день прошел в повторениях и улучшениях поцелуя, а вечером Мартын был совершенно разбит, словно таскал бревна. Когда же Алла в сопровождении мужа вошла в столовую, где он и мать уже чистили апельсины, села за соседний столик, проворно развернула конус салфетки и, с легким взлетом рук, уронила ее к себе на колени, после чего придвинулась со стулом, – Мартын медленно запунцовел и долго не решался встретиться с нею глазами, а когда наконец встретился, то в ее взгляде не нашел ответного смущения.

Жадное, необузданное воображение Мартына не могло бы ладить с целомудрием.

Мартын не совсем был чист. Мысли, кои зовутся “дурными”, донимали его в течение последних двух-трех лет, и он им не очень противился. В начале они жили отдельно от его ранней влюбчивости. Когда, в памятную петербургскую зиму, он, после домашнего спектакля, накрашенный, с подведенными бровями, в белой косоворотке, заперся в чулане вдвоем с однолеткой-кузиной, тоже накрашенной, в платочке до бровей, и смотрел на нее, жал ей сырые ладошки, Мартын живо чувствовал романтичность своего поведения, но возбужден им не был. Майн-Ридов герой, Морис Джеральд, остановив коня бок о бок с конем Луизы, обнял белокурую креолку за гибкий стан, и автор от себя восклицал: “Что может сравниться с таким лобзанием?” Подобные вещи уже куда больше волновали Мартына. И вообще – все несколько отдаленное, заповедное, достаточно расплывчатое, чтобы дать мечте работу по выяснению подробностей, – будь то портрет леди Гамильтон или бормотание пучеглазого однокашника о развратных домах, – особенно поражало его воображение. Теперь же туман редел, видимость улучшалась. Слишком поглощенный этим, он пренебрегал подлинными словами Аллы: “Я останусь для тебя сказкой. Я безумно чувственная. Ты меня никогда не забудешь, как, знаешь, забывают какой-нибудь прочитанный старый роман. И не надо, не надо рассказывать обо мне твоим будущим любовницам”.

Софья же Дмитриевна была довольна и недовольна зараз. Когда ей кто-нибудь из знакомых ужимчиво докладывал: “А мы сегодня гуляли и видели, видели... шел с поэтессой под ручку, да-да, очень нежно... Совсем погиб ваш мальчик”, – Софья Дмитриевна отвечала, что все это вполне натурально, такой уж возраст. Она гордилась ранним проявлением у Мартына мужественных страстей, однако скрыть от себя не могла, что Алла, хоть милая, приветливая женщина, да уж слишком “скорая”, как выражаются англичане, и, прощая сыну его ослепление, она не прощала Алле ее привлекательной вульгарности. К счастью пребывание в Греции подходило к концу, – на днях должен был придти из Швейцарии от Генриха Эдельвейса, двоюродного брата мужа, ответ на очень откровенное, с трудом написанное письмо – о смерти мужа, об иссякании средств. В свое время Генрих Эдельвейс посещал их в России, был с нею и с мужем дружен, любил племянника и всегда слыл честным и широким человеком. “Ты не помнишь, Мартын, когда последний раз у нас был дядя Генрих? Во всяком случае до, – правда?” Это “до”, всегда лишенное существительного, значило до размолвки, до разлуки с мужем, и Мартын тоже говорил: “до” или “после”, ничего не уточняя. “Кажется, после”, – ответил он, припомнив, как дядя Генрих явился на дачу, долго сидел у Софьи Дмитриевны и потом вышел с красными глазами, так как отличался слезоточивым нравом и плакал даже в кинематографе. “Конечно, какая я дура”, – быстро сказала Софья Дмитриевна, вдруг восстановив его приезд, разговор о муже, увещевания, что надо помириться. “И ты его хорошо помнишь, правда? Он тебе всякий раз привозил что-нибудь”. “Последний раз комнатный телефон”, – сказал Мартын и поморщился: телефон проводить было неинтересно, а когда его кто-то наконец провел из детской к матери в спальню, он действовал плохо, а через день и вовсе сдал, после чего был заброшен – вместе с другими, прежними, дядиными подарками, как например “Швейцарский Робинзон”, прескучный после Робинзона настоящего, или маленькие товарные вагоны из жести, вызвавшие тайные слезы разочарования, так как Мартын любил только пассажирские. “Чего ты морщишься?” – спросила Софья Дмитриевна. Он объяснил, и она рассмеялась, сказала: “Правда, правда” – и задумалась о детстве Мартына, о вещах невозвратимых, неизъяснимых, в этой думе была щемящая прелесть, – и как все проходит, – Боже мой, – усы растут, ногти чистые, этот сиреневый галстучек, эта женщина... “Эта женщина очень, конечно, милая, – сказала Софья Дмитриевна, – но ты не думаешь, что она чуть-чуть слишком разбитная? Нельзя так терять голову. Скажи мне, – впрочем нет, я не хочу ничего спрашивать... Только вот, говорят, что она в Петербурге была страшная flirt. И неужели тебе нравятся ее стихи? Этот дамский демонизм? Она так аффектированно читает. Неужели у вас дошло – ну, я не знаю – до пожимания рук, что ли?” Мартын загадочно улыбнулся. “Наверно, ничего между вами и нет, – лукаво сказала Софья Дмитриевна, любясь играющими, тоже лукавыми глазами сына. – Я уверена, что ничего нет. Ты еще не дорос”. Мартын рассмеялся, она привлекла его и сочно, жадно поцеловала в щеку. Все это происходило у садового столика, на площадке перед гостиницей, рано утром, – и день обещал быть восхитительным, безоблачное небо было еще подернуто дымкой, как бывает покрыта листом папиросной бумаги необыкновенно яркая,

глянцевитая картина на заглавной странице дорогого издания сказок. Мартын осторожно этот полупрозрачный лист отворачивал, и вот, по белым ступеням лестницы, чуть играя низкими бедрами, в ярко-синей юбке, по которой шло правильное волнистое колебание, по мере того, как с рассчитанною неторопливостью то одна нога, то другая, вытянув лаковый носок, ступала вниз, – мерно раскачивая парчовой сумкой и уже улыбаясь, спускалась, на прямой пробор причесанная, ясноглазая, тонкошеяя женщина с крупными, черными серьгами, которые колебались тоже. Он встречал ее, целовал ей руку, отступал, и она, смеясь и музыкально картавя, здоровалась с Софьей Дмитриевной, которая сидела в плетеном кресле и курила толстую английскую папиросу, первую после утреннего кофе. “Вы так красиво спали, Алла Петровна, что я не хотела вас будить”, – говорила Софья Дмитриевна, держа на отлете длинный эмалевый мундштук и почему-то поглядывая искоса на Мартына, который уже сидел на балюстраде и качал ногами. Алла, захлебываясь, принималась рассказывать, какие она видела ночью сны, – замечательные мраморные сны с древнегреческими жрецами, в способности сниться которых Софья Дмитриевна сильно сомневалась. И сыро блестел свежесполитый гравий.

Любопытство Мартына росло. Блуждания по пляжу, поцелуи, которые всякий мог подсмотреть, начинали казаться слишком растянутым предисловием; зато и желанная суть вызывала беспокойство: некоторые подробности Мартын представить себе не мог и боялся своей неопытности. Незабвенный день, когда Алла сказала, что она не деревянная, что так к ней прикасаться нельзя, и что, после обеда, когда муж будет прочно в городе, а Софья Дмитриевна закейфует у себя в комнате, она зайдет к Мартыну в номер, чтобы показать ему чьи-то стихи, этот день был как раз тот, который открылся разговором о дяде Генрихе и комнатном телефоне. Когда, уже в Швейцарии, дядя Генрих подарил Мартыну на рождение черную статуэтку (футболист, ведущий мяч), Мартын не мог понять, почему в то самое мгновение, как дядя поставил на стол эту ненужную вещь, ему представилось с потрясающей яркостью далекое, нежное фалерское утро, и Алла, сходящая по лестнице. Сразу после обеда он пошел к себе и принялся ждать. Мыльную кисточку Черносвитова он спрятал за зеркало, – она почему-то мешала. Со двора доносился звон ведер, плеск воды, гортанная речь. На окне мягко набухла желтая занавеска, и солнечное пятно ширилось на полу. Мухи описывали не круги, а какие-то параллелепипеды и трапеции вокруг штанги лампы, изредка на нее садясь. Мартын волновался нестерпимо. Он снял пиджак и воротник, лег навзничь на кушетку, слушал, как бухает сердце. Когда раздались быстрые шаги и стук в дверь, у него что-то сорвалось под ложечкой. “Видишь, целая пачка”, – сказала Алла воровским шепотом, но Мартыну было не до стихов. “Какой дикий, Боже мой, какой дикий”, – глухо приговаривала она, незаметно ему помогая. Мартын торопился, настигал счастье, настиг, и она, покрывая ему рот ладонью, бормотала: “Тише, тише... соседи...”

“Это по крайней мере вещица, которая останется у тебя навсегда, – ясным голосом сказал дядя Генрих и слегка откинулся, откровенно любуясь статуэткой. – В семнадцать лет человек уже должен думать об украшении своего будущего кабинета, и, раз ты любишь английские игры...” “Прелесть”, – сказал Мартын, не желая дядю обидеть, и потрогал неподвижный шар у носка футболиста.

Дом был деревянный, кругом росли густые ели, туман скрывал горы; жаркая желтая Греция осталась действительно очень далеко. Но как живо еще было ощущение того гордого, праздничного дня: у меня есть любовница! Какой заговорщический вид был потом вечером у синей кушетки! Ложась спать, Черносвитов все так же скреб лопатки, принимал усталые позы, потом скрипел в темноте, просил не тяжелить воздуха, наконец храпел, посвистывая носом, и Мартын думал: ах, если б он знал... И вот однажды, когда мужу полагалось быть в городе, а в его и Мартыновой комнате, на кушетке, Алла уже поправляла платье, успев “заглянуть в рай”, как она выражалась, меж тем, как Мартын, вспотевший и растрепанный, искал запонку, оброненную в том же раю, – вдруг, сильно толкнув дверь, вошел Черносвитов и сказал: “Ишь ты где, матушка. Я, конечно, забыл захватить с собой письмо Спиридонова. Хорошенькое было бы дело”. Алла провела ладонью по смятой юбке и спросила, наморщив лоб: “А он уже дал свою подпись?” “Этот старый скот Бернштейн все воду возит, – сказал Черносвитов, роясь в чемодане. – Если они желают задерживать деньги, то пусть сами, скоты, выкручиваются”. “Главное, – сказала Алла, – не забудь об отсрочке. Ну

что, нашел?” – “На катере к чертовой матери – бормотал Черносвитов, перебирая какие-то конверты. – Оно должно быть. Не могло ж оно запропаститься в самом деле”. “Если оно пропало, тогда вообще все пошло прахом”, – сказала она недовольно. “Тянут, тянут, – бормотал Черносвитов, – вот и возись с ними. Опупеть можно. Я буду очень рад, если Спиридонов откажется”. – “Да ты не волнуйся так, найдется”, – сказала Алла, но видимо и сама была встревожена. – “Есть, слава Тебе, Господи!” – воскликнул Черносвитов и скользнул глазами по найденному листку, при чем от внимания челюсть у него отвисла. – “Не забудь сказать об отсрочке”, – напомнила ему Алла. “Добже”, – сказал Черносвитов и поспешно вышел.

Этот деловой разговор привел Мартына в некоторое недоумение. Ни муж, ни жена не притворялись, – они действительно совершенно забыли о его присутствии, погрузившись в свои заботы. Алла, однако, сразу вернулась к прежнему настроению, посмеялась, что в Греции такие скверные дверные задвижки – сами выскакивают, – а на тревожный вопрос Мартына пожала плечами: “Ах, я уверяю тебя, он ничего не заметил”. Ночью Мартын долго не мог уснуть и все с тем же недоумением прислушивался к самодовольному храпу. Когда, через три дня, он с матерью отплывал в Марсель, Черносвитовы приехали провожать в Пирей: они стояли на пристани, держась под руку, и Алла улыбалась и махала мимозовой веткой. Накануне, впрочем, она всплакнула.

ГЛАВА X

На нее, на эту заглавную картинку, оказавшуюся после снятия полупрозрачного листка, грубоватой, подчеркнуто яркой, Мартын снова опустил дымку, сквозь которую краски приобретали таинственную прелесть. И на большом трансатлантическом пароходе, где все было чисто, отшлифовано, просторно, где был магазин туалетных вещей, и выставка картин, и аптека, и парикмахерская, и где по вечерам танцевали на палубе тустеп и фокстрот, – он с восторженной грустью думал о той милой женщине, о ее нежной, слегка впалой груди и ясных глазах, и о том, как непрочно похрустывала она в его объятиях, приговаривая: “Ай, сломаешь”. Меж тем, близка была Африка, на горизонте с севера появилась лиловая черта Сицилии, а затем пароход скользнул между Корсикой и Сардинией, и все эти узоры знойной суши, которая была где-то кругом, где-то близко, но проходила невидимкой, пленяли Мартына своим бесплотным присутствием. А по пути из Марселя в Швейцарию он как будто узнал любимые ночные огни на холмах, – и хотя это не был уже *train de luxe*, а простой курьерский поезд, тряский, темный, грязный от угольной пыли, волшебство было тут, как тут: эти огни и вопли во мраке... По дороге, в автомобиле, между Лозанной и дядиным домом, расположенным повыше в горах, Мартын, сидя рядом с шофером, изредка с улыбкой поворачивался к матери и дяде, которые оба были в больших автомобильных очках и одинаково держали на животах руки. Генрих Эдельвейс остался холост, носил толстые усы, и некоторые его интонации да манера возиться с зубочисткой или ковырялкой для ногтей напоминали Мартыну отца. При встрече с Софьей Дмитриевной на вокзале в Лозанне, дядя Генрих разрыдался, рукой прикрыл лицо, но погодя, в ресторане, успокоился и на своем пышноватом французском языке заговорил о России, о своих прежних поездках туда. “Как хорошо, – сказал он Софье Дмитриевне, – как хорошо, что твои родители не дожили до этой страшной революции. Я помню превосходно старую княгиню, ее белые волосы... Как она любила бедного, бедного Сержа”, – и при воспоминании о двоюродном брате у Генриха Эдельвейса опять налились глаза голубой слезой. “Да, моя мать его любила, это правда, – сказала Софья Дмитриевна, – но она вообще всех и все любила. А ты мне скажи, как ты находишь Мартына”, – быстро продолжала она, пытаясь отвлечь Генриха от печальных тем, принимавших в его пушистых устах оттенок нестерпимой сентиментальности, “Похож, похож, – закивал Генрих. – Тот же большой лоб, прекрасные зубы...” “Но, правда, он возмужал? – поспешно перебила Софья Дмитриевна. – И, знаешь, у него уже были увлечения, страсти”. Дядя Генрих перешел на политические темы. “Эта революция, – спросил он риторически, – как долго она может длиться? Да, этого никто не знает. Бедная и прекрасная Россия гибнет. Может быть твердая рука диктатора положит конец эксцессам. Но многие прекрасные вещи, ваши

земли, ваши опустошенные земли, ваш деревенский дом, сожженный сволочью, – всему этому следует сказать прощай”. “Сколько стоят лыжи?” – спросил Мартын. “Не знаю, – со вздохом ответил дядя Генрих. – Я никогда не развлекался этим английским спортом. И у тебя английский акцент. Это дурно. Мы переменим все это”. “Он многое перезабыл, – вступилась за сына Софья Дмитриевна. – Последние годы m-lle Planché уже не давала уроков”. “Умерла, – с чувством сказал дядя Генрих. – Еще одна смерть”. “Да нет, – улыбнулась Софья Дмитриевна. – Откуда ты взял? Она вышла замуж за финна и спокойно живет в Выборге”. “Во всяком случае все это очень грустно, – сказал дядя Генрих. – Я так желал, чтобы когда-нибудь Серж с вами приехал сюда. Но никогда не имеешь того, о чем мечтаешь, и Бог один знает судьбу людей. Если вы утолили голод и наверное больше ничего не хотите, можем отправиться в путь”.

Дорога была светлая, излучистая; справа поднималась скалистая стена с цветущими колючими кустами в трещинах, слева был обрыв, долина, где серповидной пеной, уступами, бежала вода; затем появились черные ели, они стояли тесным строем то на одном склоне, то на другом; окрест, незаметно передвигаясь, высились зеленоватые, в снеговых проплешинах, горы, из-за плеч этих гор смотрели другие, посерее, а совсем вдалеке поднимались горы лиловой гуашевой белизны, и эти были совершенно неподвижны, и небо над ними словно выцвело по сравнению с ярко-синими просветами между верхушками черных елей, под которыми катился автомобиль. Вдруг, с непривычным еще чувством, Мартын вспомнил густую, еловую опушку русского парка сквозь синее ромбовидное стекло на веранде, – а когда, разминая слегка звенящие ноги, с прозрачным гудом в голове, он вышел из автомобиля, его поразил запах земли и тающего снега, шероховатый свежий запах, и еловая красота дядино дома. Стоял он особняком в полуверсте от деревни, и с верхнего балкона был один из тех дивных видов, которые прямо пугают своим воздушным совершенством, а в чистенькой уборной, где пахло смолой, густо синело в оконце опять это весеннее дачное небо, и кругом, в саду с голыми черными клумбами и цветущими яблонями в глубине, в еловом бору, сразу за садом, и на мягкой дороге, ведущей в деревню, была прохладная, веселая, что-то знающая тишина, и голова слегка кружилась, не то от этой тишины, не то от запахов, не то от новой, блаженной косности после трехчасовой езды.

В этом доме Мартын прожил до поздней осени. Предполагалось, что зимой он поступит в Женевский университет; однако, после живой переписки с друзьями в Англии, Софья Дмитриевна определила его в Кембридж. Дядя Генрих не сразу с этим примирился, – он англичан недолюбливал, холодный коварный народ. Зато мысль об издержках, которых потребует знаменитый университет не только его не огорчала, а напротив была соблазнительна. Любя экономить по мелочам, в левой руке зажимая грош, он правой охотно выписывал крупные чеки, – особенно, когда расход являлся почетным. Иногда он трогательно играл самодура, хрюпал ладонью по столу, раздувал усы и кричал: “Если я это делаю, то потому, что мне приятно!” И Софья Дмитриевна со вздохом натягивала на кисть новые часики-браслет из Женевы, а Генрих, размякнув, лез в карман, вытягивал объемистый платок с голубой каемкой, встряхивал его, и, скрывая набежавшие слезы, трубил раз, трубил два, затем приглаживал усы – вправо и влево.

С наступлением лета погнали крестами меченных овец еще выше в горы. Неизвестно откуда, с какой стороны, начинал доноситься журчащий металлический звон, плыл, обволакивал, вызывал у слушателя странную щекотку во рту, и вот, в облаке пыли, серой, курчавой густыней, лились, мягко толкаясь, овечьи спины в переменчивой и подвижной тесноте, и влажный, полый, улаждающий все чувства звон колокольцев все рос, наливался, так таинственно, словно звучала самая пыль, клубящаяся над овцами; порою одна выбивалась из стада, пробегала трусцой, и лохматая собака молча ее оттесняла в стадо, и сзади шел, мягко ступая, пастух, – и звон колокольцев чуть менялся в тембре, становился опять глуше, тише, но долго еще стоял в воздухе, вместе с летучей пылью. “Ах, как славно”, – шептал про себя Мартын, дослушав звон до конца, и продолжал путь, любимую свою прогулку, начинавшуюся деревенской дорогой и тропинками в еловой глуши. Бор внезапно редел, появлялись крутые сочные луга, каменистая стежка спускалась между живых изгородей; иногда навстречу поднималась корова с мокрой розовой мордой, останавливалась, похлестывая хвостом, и, качнув головой вбок, проходила, и следом за ней шла проворная старушка с ду-

бинкой и кидала на Мартына недоброжелательный взгляд. А ниже, за тополями и кленами, белела большая гостиница, хозяин которой был в отдаленном родстве с Эдельвейсом.

За это лето Мартын еще больше окреп, увеличился размах плеч, и голос приобрел ровный и низкий звук. Меж тем на душе у него было сумбурно, и чувство, не совсем понятное, возбуждали такие вещи, как дачная прохлада в комнатах, столь отчетливая после наружной жары, толстый шмель, с обиженным видом стучащий по потолку, еловые лапы на синеве неба, или крепкий коричневый боровик, найденный на опушке. Будущая поездка в Англию волновала и радовала его. Воспоминание об Алле Черносвитовой достигло окончательного совершенства, и он себе говорил, что недостаточно ценил фалерское счастье. Жажда, которую та, утоляя, только обострила, так мучила его в эти горные летние дни, что по ночам он долго не мог забыться, представляя себе, среди многих приключений, всех тех женщин, которые ждут его в светяющихся городах, и, случалось, повторял вслух какое-нибудь женское имя – Изабелла, Нина, Маргарита, – еще холодное, нежилое имя, пустой гулкий дом, куда медлит вселиться хозяйка, – и гадал, какое из этих имен станет вдруг живым, столь живым и естественным, что уже никогда нельзя будет произнести его так таинственно, как сейчас. А по утрам приходила из деревни пособлять старой горничной племянница ее Мария, семнадцатилетняя девочка, очень тихая и миловидная, с темно-розовыми щеками и туго закрученными вокруг головы желтыми косами. Бывало так, что Мартын в саду, а она вдруг распахивает верхнее окошко и, отряхнув тряпку, замирает, глядя, быть может, на овальные тени облаков, скользящие по склонам гор; затем проводит тылом руки по виску и медленно отворачивается. Мартын поднимался в комнаты, определял по сквознякам, где происходит уборка, и среди блеска мокрых половиц Мария, задумавшись, стояла на коленях: он видел ее со спины, ее черные шерстяные чулки и зеленое, в горошинку, платье. Она никогда не смотрела на Мартына, только раз – и это было событие – проходя мимо с пустым ведром, неопределенно и нежно улыбнулась, однако не ему, а цыплятам. Он упорно давал себе обет заговорить с ней, да потихоньку обнять, но однажды, после ее ухода, Софья Дмитриевна потянула носом, поморщилась и поспешно открыла все окна, – и Мартын проникся к Марии досадливым отвращением и только очень постепенно, по мере ее следующих далеких появлений, – в раскрывшемся окне, или в просвете листвы близ колодца, – опять начал поддаваться очарованию, но уже боялся приблизиться. Так что-то счастливое, томное, его издалека заманивало, но было обращено не к нему. Как то раз, забравшись высоко в горы, он сел с ногами на большой лобатый камень, и снизу, вьющейся тропой, прошло стадо, музыкально и грустно булькая, а затем двое, оборванный, веселый мужчина и девушка, которая, все посмеиваясь, вязала на ходу чулок. Они прошли, не взглянув на Мартына, словно был он бесплотен, и он долго следил за ними: мужчина, не меняя шага, перекинул руку через плечо спутницы, и по ее затылку видно было, что она все вяжет, вяжет, неторопливо спускаясь в другую долину. А не то около теннисной площадки перед гостиницей появлялись, крича, белеясь платьями и отмахиваясь ракетами от оводов, барышни с голыми руками, но, как только они начинали играть – какая топорность, какая беспомощность, – тем более, что сам Мартын играл превосходно, разбивал в лоск любого молодого аргентинца из гостиницы, ибо сызмала усвоил лад, необходимый для наслаждения природой шара, согласованность всех членов, так что каждый удар по белому мячу, начинаясь с дугового налета, еще длится после звучной вспышки ракетных струн, проходя по мышцам руки до самого плеча, как бы замыкая плавный круг, из которого так же плавно родится следующий. В жаркий августовский день возник на площадке профессиональный игрок, Боб Китсон из Ниццы, и предложил Мартыну партию. Знакомая глупая дрожь – отместка слишком живого воображения. Все же Мартын начал хорошо, то прихлопывая мяч на излет у самой сетки, то с задней черты мощно лупя в отдаленнейший угол. Кругом стояли и смотрели, – это было приятно. Горело лицо, и до безумия хотелось пить. Подавая, обрушиваясь на мяч и сразу превращая наклон тела в быстрый пробег к сетке, Мартын собирался взять решительную игру. Но профессионал, долговязый, хладнокровный юноша в очках, игравший точно с лентой, вдруг проснулся и пятью молниевидными ударами сравнял положение. Мартын почувствовал усталость и беспокойство. Солнце – в глаза. Вылезает из-под пояса рубашка. Если Китсон возьмет этот пункт, – все кончено. Тот, из неудобного угла, дал свечку, и Мартын, отбегая кэк-уоком, приготовился мяч убить. Пока он низвергал ракету, ему мгновенно померещился проигрыш, злорад-

ство обычных его партнеров. Увы, мяч тупо плюхнул в сетку. “Не повезло”, – бодро сказал Китсон, и Мартын осклабился, героически преодолевая досаду.

ГЛАВА XII

²Возвращаясь домой, он переигрывал в уме все удары, обращал поражение в победу и качал головой: трудно, трудно изловить счастье. Скрытые листвой, журчали ручьи, с мокрых мест на дороге вспархивали голубые бабочки, в кустах возились птицы, – все было до грусти солнечно и беспечно. Вечером, после обеда, сидели, как всегда, в гостиной, дверь была широко открыта на террасу, и, так как испортилось электричество, горели в канделябрах свечи: изредка пламя их наклонялось, и тогда из-под всех кресел вытягивались черные тени. Мартын, копая в носу, читал томик Мопассана со старомодными иллюстрациями: Бель-Ами, усатый, в стоячем воротничке, обнажающий с ловкостью камеристки стыдливую, широкобедрую женщину. Дядя Генрих, отложив газету и подбоченясь, смотрел на карты, которые раскладывала на ломберном столе Софья Дмитриевна. В окна и в дверь напирала с террасы теплая, черная ночь. Подняв голову, Мартын вдруг настораживался, словно был какой-то смутный призыв в этой гармонии ночи и свеч. “Последний раз он у меня вышел в России, – проговорила Софья Дмитриевна. – Он вообще выходит очень редко”. Расставя пальцы, она собрала рассыпанные по столу карты и принялась их вновь тасовать. Дядя Генрих вздохнул.

Наскуча книгой, Мартын потянулся и вышел на террасу. Было очень темно, пахло сыростью и ночными цветами. Сорвалась звезда и, конечно, как это обычно бывает, – не совсем в поле зрения, а сбоку, так что глаз уловил лишь трепет, мгновенную, беззвучную перемену в небе. Очертания гор были неразборчивы, и в складках мрака дрожало там и сям по два, по три огонька. “Путешествие”, – вполголоса произнес Мартын и долго повторял это слово, пока из него не выжал всякий смысл, и тогда он отложил длинную, пушистую словесную шкурку, и глядь, – через минуту слово было опять живое. “Звезда. Туман, Бархат, бар-хат”, – отчетливо произносил он и все удивлялся, как непрочно смысл держится в слове. И в какую даль этот человек забрался, какие уже перевидел страны, и что он делает тут, ночью, в горах, – и отчего все в мире так странно, так волнительно. “Волнительно”, – повторил громко Мартын и остался словом доволен. Опять покати́лась звезда. Он уставился глазами в небо, как некогда, когда в коляске, темной лесной дорогой, возвращались восвояси из имения соседа, и совсем маленький, размазанный, готовый вот-вот уснуть, Мартын откидывал голову, смотрел на небесную реку, между древесных клубьев, по которой тихо плыл. Он подумал: где еще в жизни будет так – как тогда, как сейчас – смотреть на ночное небо, – на какой пристани, на какой станции, на каких площадях? Чувство богатого одиночества, которое он часто испытывал среди толпы, блаженное чувство, когда себе говоришь: вот, никто из этих людей, занятых своим делом, не знает, кто я, откуда, о чем сейчас думаю, – это чувство было необходимо для полного счастья, и Мартын, с замиранием, с восторгом себе представлял, как – совершенно один, в чужом городе, в Лондоне, скажем, – будет бродить ночью по неизвестным улицам. Он видел черные кэбы, хлюпающие в тумане, полицейского в черном блестящем плаще, огни на Темзе, – и другие образы из английских книг. Оставив багаж на вокзале, он шел мимо бесчисленных освещенных Дрюсов и, волнуясь, искал Изабеллу, Нину, Маргариту, кого-нибудь, чьим именем назвать эту ночь. А она, – за кого она его примет? За художника, за моряка, за джентльмена-взломщика? От денег она откажется, будет нежна, по утру не захочет отпустить. Но как улицы туманны, как многолюдны, как трудно найти... И хотя многое выглядело иначе, хотя кэбы уже повымерли, кое-что он все же узнал, когда осенним вечером вышел налегке с вокзала Виктории, узнал темный, маслянистый воздух, мокрый плащ полицейского, отблески, шлепающие звуки. На вокзале он отлично вымылся под душем в веселенькой чистой каморке, вытерся теплым, мохнатым полотенцем, которое принес краснощекий служитель, надел чистое белье, лучший костюм, оставил оба чемодана на хранении и теперь был горд, что так толково устроился. Он едва чувствовал дорожную

² Нумерация глав соответствует американскому изданию

усталость: была только звонкость, волнение. Громадные автобусы яростно и тяжело разбрызгивали озера на асфальте; световые рекламы взбегали и рассыпались по фронтонам багровых домов. Он встречал, обгонял женщин, оборачивался, – но чем красивее было лицо, тем труднее было решиться. Светлых, привлекательных кафе, как в Афинах или в Лозанне, тут не было, а в баре, где он выпил стакан пива, оказались одни мужчины, воспаленные, лупоглазые, с красными жилками на белках. Мало-помалу им овладевало смутное раздражение: русская семья, у которой по письменному сговору он должен был на неделю остановиться, вот сейчас ждет его, беспокоится. Он подумал, не сесть ли спокойно в таксомотор, не отказаться ли от этой ночи. Но тут же ему стало стыдно его недоверчивости к ней, – как напряженно он о ней мечтал нынче на рассвете, глядя в окно поезда на равнины, на розовое холодное небо, на черный силуэт ветряной мельницы. “Малодушие и предательство”, – тихо сказал Мартын. Он заметил, что во второй раз проходит той же улицей, узнал ее по витрине, полной жемчужных ожерелий. Он стал и мельком проверил давнее свое отвращение к жемчугам: устричные геморроиды, круглявые, с нездоровым отливом. Рядом с ним остановилась женщина под зонтиком. Мартын искоса посмотрел: худенькая, черный костюм, сияющая булавка в шляпе. Она повернула лицо, улыбнулась и, выпучив губы, издала маленький звук вроде удлинненного “у”. Мартын увидел, как в ее глазах бегут огни, переливы, блеск дождя, и хриплым шепотом пожелал ей доброго вечера.

Как только они оказались в темноте таксомотора, он обнял ее, шалея от ощущения ее гибкой худобы. Она закрывалась руками и хохотала. Потом, в номере, когда он неловко вынул бумажник, она сказала: “Нет, нет, если хотите, завтра поведете меня обедать в шикарное место”. Она спросила, кто он, не француз ли, и стала по его просьбе гадать: бельгиец? датчанин? голландец? И не поверила, когда он сказал: русский. Далее он намекнул ей, что зарабатывает жизнь карточной игрой на больших пароходах, поведал ей о своих странствиях, кое-что расцвел, кое-что прибавил и, описывая никогда им невиданный Неаполь, глядел с любовью на ее голые детские плечи, на стриженую русую голову, и был совершенно счастлив. Рано утром, пока он мирно спал, она быстро оделась и ушла, выкрыв из его бумажника десять фунтов. “Утро после дебоша”, – с улыбкой подумал Мартын, захлопнув бумажник, который поднял с полу. Он облился из кувшина, устроив потоп, и все улыбался, вспоминая прелестную ночь. Было немного жалко, что она так глупо ушла, что больше никогда он ее не встретит. А звали ее Бэсс. Когда же он вышел из гостиницы и пошел по утренним просторным улицам, то ему хотелось прыгать и петь от счастья, и, чтобы как-нибудь облегчить душу, он взобрался на лесенку, прислоненную к фонарю, из-за чего имел долгое и смешное объяснение с пожилым прохожим, грозившим снизу тростью.

ГЛАВА XIII

Второй нагоняй он получил от Зилановой, Ольги Павловны. Накануне она прождала его до позднего вечера и, так как полагала почему-то, что Мартын и моложе и беспомощнее, чем оказался на самом деле, разволновалась, не знала, что предпринять. Он объяснил, что вчера хватился адреса, а нашел его только сегодня в мало посещаемом карманнике, и что ночевал в гостинице у вокзала. Ольга Павловна захотела узнать, почему он не позвонил по телефону, и как называется гостиница. Мартын придумал хорошее, незаурядное название: Гуд-Найт Отель, – и объяснил, что искал в телефонной книжке номер, но не нашел. “Эх, вы”, – недовольно сказала Зиланова и вдруг улыбнулась изумительно прекрасной улыбкой, совершенно преобразившей ее дряблкое, унылое лицо. Мартын помнил эту улыбку еще по Петербургу, и так как он был тогда дитя, а говоря с чужими детьми женщины обычно улыбаются, его память сохранила Зиланову с сияющим лицом, и он на первых был озадачен, найдя ее такой старой и хмурой.

Ее муж, известный общественный деятель, был временно в отъезде, и Мартына поместили в его кабинете. Кабинет и столовая находились в первом этаже, гостиная во втором, спальни в третьем. Из таких узко-фасадных домов, друг от друга неотличимых и с одинаковым расположением комнат по вертикали, состояла вся эта тихая, неторговая улица, оживленная красной почтовой тумбищей на углу. Позади правого ряда домов были палисадники,

где летом цвели рододендроны, а за левым рядом желтел и облетал сквер с большими ильмами и с муравчатой площадкой для тенниса. Старшая дочь Зиланова, Нелли, недавно вышла замуж за русского офицера, попавшего в Англию из немецкого плена. Младшая, Соня, кончала в Лондоне среднюю школу, куда неожиданно перешла из пятого класса Стоюнинской гимназии. Существовала еще сестра Зилановой, Елена Павловна, и ее дочка Ирина, несчастное безобразное существо – полуидiotка.

Неделя, которую Мартын, примериваясь к Англии, прожил в этом доме, показалась ему довольно тягостной.

День-деньской он был среди чужих, его не отпускали ни на шаг. Соня донимала его тем, что высмеивала его гардероб, сорочки с крахмальными манжетами и твердоватой грудью, любимые ярко-лиловые носки, оранжевые башмаки с шишковатыми носами, купленные в Афинах. “Это американские”, – с нарочитым спокойствием сказал Мартын. “Американцы их специально делают, чтобы продавать неграм да русским”, – бойко возразила Соня. Далее оказалось, что Мартын не привез халата, и, когда он по утрам шел в ванную, гордо закутанный в простыню, Соня говорила, что это ей напоминает ее двоюродных братьев и товарищей их, лицеистов, которые, гостя на даче, спали нагишом, ходили по утрам в простынях и гадили в саду. Кончилось тем, что Мартын накупил в Лондоне столько вещей, что десяти фунтов не хватило, и пришлось писать дяде, а это было особенно неприятно в виду туманных объяснений, которых потребовало исчезновение других десяти фунтов. Да, тяжелая, неудачная неделя. Ведь и английское произношение, которым Мартын тихо гордился, тоже послужило поводом для изысканно насмешливых поправок. Так, совершенно неожиданно, Мартын попал в неучи, в недоросли, в маменькины сынки. Он считал, что это несправедливо, что он в тысячу раз больше переживал и испытал, чем барышня в шестнадцать лет. И с некоторым злорадством он расколошматил на теннисе каких-то ее молодых людей, а вечером накануне отъезда превосходно танцевал под гавайский плач граммофона тустеп, которому научился еще в Средиземном море.

В Кембридже он и подавно почувствовал себя иностранцем. Встречаясь с англичанами-студентами, он, дивясь, отмечал свое несомненное русское нутро. От полуанглийского детства у него остались только такие вещи, которые у коренных англичан, его сверстников, читавших в детстве те же книги, затуманились, уложились в должную перспективу, – а жизнь Мартына в одном месте круто повернула, пошла по другому пути, и тем самым обстановка и навыки детства получили для него привкус некоторой сказочности, и какая-нибудь книга, любимая в те дни, оставалась по сей час в его памяти прелестнее и ярче, чем та же книга в памяти сверстников-англичан. Он помнил и говорил словечки, которые десять лет назад были в ходу среди английских школьников, а ныне считались либо вульгарными, либо до смешного старомодными. Синим пламенем пылающий плам-пуддинг подавался в Петербурге не только на Рождество, как в Англии, а в любой день, и, по мнению многих, у повара Эдельвейсов он выходил лучше, чем покупные. В футбол петербуржцы играли на твердой земле, а не на дерне, и штрафной удар обозначался неизвестным в Англии словом “пендель”. Цвета полосатой курточки, купленной когда-то у Дрюса, Мартын бы теперь не смел носить, так как они отвечали спортивной форме определенного училища, воспитанником которого он никогда не состоял. И вообще все это английское, довольно в сущности случайное, процеживалось сквозь настоящее, русское, принимало особые русские оттенки.

ГЛАВА XIV

На заднем плане первых кембриджских ощущений все время почему-то присутствовала великолепная осень, которую он только что видел в Швейцарии. По утрам нежный туман заволакивал Альпы. Гроздь рябины лежала посреди дороги, где колеи были подернуты слюдяным ледком. Ярко-желтая листва берез скудела с каждым днем, несмотря на безветрие, и с задумчивым весельем глядело сквозь нее бирюзовое небо. Рыжели пышные папоротники; плыли по воздуху радужные паутинки, которые дядя Генрих называл волосами Богородицы. Иногда Мартын поднимал голову, думая, что слышит далекое, далекое курлыканье журавлей, – но их не было. Он много бродил, чего-то искал, ездил на скверном велосипеде одного

из работников по шелестящим тропинкам, а Софья Дмитриевна, сидя на скамейке под кленом, задумчиво прокалывала острием трости сырые багровые листья на бурой земле. Такой разнообразной и дикой красоты не было в Англии, природа казалась оранжерейной, ручной; в геометрических садах, под морозящим небом, она умирала без роскошных причуд, но по-своему были прекрасны розовато-серые стены, прямоугольные газоны, покрытые в редкие погожие утра бледным серебром инея и выгнутый каменный мостик над узкой рекой, образовавший полный круг со своим совершенным отражением.

Ни скверная погода, ни ледяная стужа спальни, где традиция запрещала топить, не могли изменить мечтательную жизнерадостность Мартына. Одиночество веселило его. Свою рабочую комнату, жаркий камин, пыльную пианолу, безобидные литографии по стенам, низкие плетеные кресла и дешевые фарфоровые штучки на полочках, – все это он от души полюбил. Когда, поздно вечером, умирало священное пламя камина, он кочергой скупчивал мелкие, еще тлеющие остатки, накладывал сверху щепок, наваливал гору угля, раздувал огонь фукающими мехами или, занавесив пасть очага просторным листом “Таймса”, устраивал тягу: напряженный лист приобретал теплую прозрачность, и строки на нем, мешаясь с просвечивающими строками на исподе, казались диковинными знаками тарабарского языка. Затем, когда гул и бушевание огня усиливались, на газетном листе появлялось рыжее, темнеющее пятно и вдруг прорывалось, вспыхивал весь лист, тяга мгновенно его всасывала, он улетал в трубу, – и поздний прохожий, магистр в черном плаще, видел сквозь сумрак готической ночи, как из трубы вырывается в звездную высь огневласая ведьма, и на другой день Мартын платил денежный штраф.

Будучи одарен живым и общительным нравом, Мартын оставался один недолго. Довольно скоро он подружился с нижним жильцом, Дарвином, да познакомился кое с кем на футбольном поле, в клубе, в общей столовой. Он заметил, что всякий считает должным говорить с ним о России, выяснить, что он думает о революции, об интервенции, о Ленине и Троцком, а иные, побывавшие в России, хвалили русское хлебосольство или спрашивали, не знает ли он случайно Иванова из Москвы. Мартыну такие разговоры претили; небрежно взяв со стола том Пушкина, он начинал переводить вслух стихи: “Люблю я пышное природы увяданье, в багрец и золото одетые леса”. Это возбуждало недоумение, – и только один Дарвин, большой, сонный англичанин в канареечно-желтом джемпере, развалившись в кресле, сопя трубкой и глядя в потолок, одобрительно кивал.

Этот Дарвин, заставив вечерами к Мартыну, подробно осветил, ему в назидание, некоторые строгие, исконные правила: не полагается студенту ходить по улице в шляпе и в пальто, как бы холодно ни было; нельзя ни здороваться за руку, ни желать доброго утра, а следует всякого знакомого, будь он сам Томпсон, объявивший войну атому, приветствовать широкой улыбкой и развязным междометием. Нехорошо кататься по реке в обыкновенной гребной лодке, – для этого есть роброи, пироги и другие виды шлюпок. Никогда не нужно повторять старые университетские остроты, которыми сразу увлекаются новички. “Но помните, – мудро добавил Дарвин, – и в соблюдении этих традиций не следует заходить слишком далеко, и иногда, чтобы огоршить снобов, бывает полезно выйти на улицу в котелке, с зонтиком подмышкой”. У Мартына создалось впечатление, что Дарвин уже давно, несколько лет, в университете, и он пожалел его, как жалел всякого домоседа. Дарвин его поражал своей сонностью, медлительностью движений, какой-то комфортабельностью всего существа. Стремясь в нем возбудить зависть, Мартын нахрапом ему рассказал о своих странствиях, бессознательно прибавив кое-что из присочиненного в угоду Бэсс, и едва заметив, как вымысел утвердился. Эти преувеличения были впрочем невинного свойства: два-три пикника на крымской Яйле превратились в постоянное бродяжничество по степям, с палкой и котомкой, Алла Черносвитова – в таинственную спутницу поездок на яхте, прогулки с ней – в долгое пребывание на одном из греческих островов, а лиловая черта Сицилии – в сады и виллы. Дарвин одобрительно кивал, глядя в потолок. Глаза у него были голубоватые, пустые, без всякого выражения; подошвы, которые он всегда казал, так как любил полулежачие позы, с высоко и удобно пристроенными ногами, были снабжены сложной системой резиновых нашлапок. Все в нем, начиная от этих прочно подкованных ног и кончая костистым носом, было добротное, великое и невозмутимое.

ГЛАВА XV

Раза три в месяц Мартына призывал тот профессор, который следил за посещением лекций, навещал в случае нездоровья, давал разрешение на поездки в Лондон и делал замечания по поводу штрафов, навлекаемых приходом домой за полночь или неношением по вечерам академического плаща. Это был сухонький старичок, с вывернутыми ступнями и острым взглядом, латинист, переводчик Горация, большой любитель устриц. “Вы сделали успехи в языке, – как-то сказал он Мартыну. – Это хорошо. Много ли у вас уже набралось знакомых?” “О, да”, – ответил Мартын. “А с Дарвином, например, вы подружились?” “О, да”, – повторил Мартын. “Я рад. Это великолепный экземпляр. Три года в окопах, Франция и Месопотамия, крест Виктории и ни одного ушиба, ни нравственного, ни физического. Литературная удача могла бы вскружить ему голову, но и этого не случилось”.

Кроме того, что Дарвин, прервав университетское учение, ушел восемнадцати лет на войну, а недавно выпустил книгу рассказов, от которых знатоки без ума, Мартын услышал, что он первоклассный боксер, что детство он провел на Мадере и на Гавайских островах, и что его отец – известный адмирал. Собственный маленький опыт показался Мартыну ничтожным, жалким, он устыдился некоторых своих рассказней. Когда вечером к нему ввалился Дарвин, было и смешно, и неловко. Он принялся исподволь выуживать про войну, про книгу, – и Дарвин отшучивался и говорил, что лучшая книга, им написанная, это маленькое пособие для студентов, которое называлось так: “Полное описание шестидесяти семи способов проникнуть в колледж Троицы после закрытия ворот, с подробным планом стен и решеток, первое и последнее издание, множество раз проверенное ни разу не попавшимся автором”. Но Мартын настаивал на своем, на важном, на книге рассказов, от которых знатоки без ума, и наконец Дарвин сказал: “Ладно, я дам. Пойдем ко мне в логово”.

Свое логово он обставил сам по собственному вкусу: были там какие-то сверхъестественно удобные кожаные кресла, в которых тело таяло, углубляясь в податливую бездну, а на камине стояла большая фотография: разомлевшая, на боку лежащая сука и круглые наливные задки ее шестерых сосунков. Да и вообще студенческих комнат Мартын уже перевидал немало: были такие, как его, – милые, но жильцом не холеные, с чужими, хозяйскими, вещами, – была комната спортсмена с серебряными трофеями на камине и сломанным веслом на стене, была комната, заваленная книгами, засыпанная пеплом, была, наконец, комната, гаже которой трудно сыскать, – почти пустая, с ярко-желтыми обоями, комната, где всего одна картина, но зато Сезанн, (эскиз углем, женообразная загогулина), да стоит раскрашенный деревянный епископ четырнадцатого века с протянутой культяпкой. Душевной всех была комната Дарвина, особенно если присмотреться, пошарить: чего стоило, например, собрание номеров газеты, которую Дарвин издавал в траншеях: газета была веселая, бодрая, полная смешных стихов, Бог знает, как и где набиралась, и в ней помещались ради красоты случайные клише, рекламы дамских корсетов, найденные в разгромленных типографиях.

“Вот, – сказал Дарвин, достав книгу. – Бери”. Книга оказалась замечательной; не рассказы, нет, скорее трактаты, – двадцать трактатов одинаковой длины; первый назывался “Штопор”, и в нем содержались тысячи занятных вещей о штопорах, об их истории, красоте и добродетелях. Второй был о попугаях, третий об игральных картах, четвертый об адских машинах, пятый об отражениях в воде. А один был о поездках, и в нем Мартын нашел все, что любил – телеграфные столбы, обрывающие взлет проводов, вагон-ресторан, эти бутылки минеральной воды, с любопытством глядящие в окно на пролетающие деревья, этих лакеев с сумасшедшими глазами, эту карликовую кухню, где потный повар в белом колпаке, шатаясь, панирует рыбу. Если б когда-нибудь Мартын думал стать писателем и был бы мучим писательской алчностью (столь родственной боязни смерти), постоянной тревогой, которая нудит запечатлеть неповторимый пустяк, – быть может, страницы о мелочах, ему сокровенно знакомых, возбудили бы в нем зависть и желание написать еще лучше. Вместо этого он почувствовал такое теплое расположение к Дарвину, что даже стало щекотно в глазах. Когда же утром, идя на лекцию, он обогнал его на углу, то, не глядя ему в лицо, сказал, вполне корректно, что многое в книге ему понравилось, и молча пошел с ним рядом, подлаживаясь

под его ленивый, но машистый шаг.

Аудитории рассеяны были по всему городу. Ежели одна лекция сразу следовала за другой, и они читались в разных залах, то приходилось вскакивать на велосипед или поспешно топотать переулками, пересекать гулко-мощные дворы. Чистыми голосами перекликались со всех башен куранты; по узким улицам несли грохот моторов, стрекотание колес, звонки. Во время лекций велосипеды сверкающим роем ластились к воротам, ожидая хозяев. На кафедру всходил лектор в черном плаще и со стуком клал на пюпитр квадратную шапку с кисточкой.

ГЛАВА XVI

Поступая в университет, Мартын долго не мог избрать себе науку. Их было так много, и все – занимательные. Он медлил на их окраинах, всюду находя тот же волшебный источник живой воды. Его волновал какой-нибудь повисший над альпийской бездною мост, одушевленная сталь, божественная точность расчета. Он понимал того впечатлительного археолога, который, расчистив ход к еще неизвестным гробам и сокровищам, постучался в дверь, прежде, чем войти, и, войдя, упал в обморок. Прекрасны свет и тишина лабораторий: как хороший ныряльщик скользит сквозь воду с открытыми глазами, так, не напрягая век, глядит физиолог на дно микроскопа, и медленно начинают багроветь его шея и лоб, – и он говорит, оторвавшись от трубки: “Все найдено”. Человеческая мысль, летающая на трапециях звездной вселенной, с протянутой под ней математикой, похожа была на акробата, работающего с сеткой, но вдруг замечающего, что сетки в сущности нет, – и Мартын завидовал тем, кто доходит до этого головокружения и новой выкладкой превозмогает страх. Предсказать элемент или создать теорию, открыть горный хребет или назвать нового зверя, – все было равно заманчиво. В науке исторической Мартыну нравилось то, что он мог ясно вообразить, и потому он любил Карлейля. Плохо запоминая даты и пренебрегая обобщениями, он жадно выискивал живое, человеческое, принадлежащее к разряду тех изумительных подробностей, которыми грядущие поколения, пожалуй, пресытятся, глядя на старые, морозящие фильмы наших времен. Он живо себе представлял дрожащий белый день, простоту черной гильотины, и неуклюжую возню на помосте, где палачи тискают голоплечего толстяка, меж тем, как в толпе добродушный гражданин поднимает под локотки любопытную, но низкорослую гражданку. Наконец, были науки, довольно смутные: правовые, государственные, экономические туманы; они утешали его тем, что искра, которую он во всем любил, была в них слишком далеко запрятана. Не зная, на что решиться, что выбрать, Мартын постепенно отстранил все то, что могло бы слишком ревниво его завлечь. Оставалась еще словесность. Были и в ней для Мартына намеки на блаженство; как пронзала пустая беседа о погоде и спорте между Горацием и Меценатом или грусть старого Лира, произносящего жеманные имена дочерних левреток, лающих на него! Так же, как в Новом Завете Мартын любил набрести на “зеленую траву”, на “кубовый хитон”, он в литературе искал не общего смысла, а неожиданных, озаренных прогалин, где можно было вытянуться до хруста в суставах и упоенно замереть. Читал он чрезвычайно много, но больше перечитывал, а в литературных разговорах бывали с ним несчастные случаи: он раз спутал, например, Плутарха с Петраркой и раз назвал Кальдерона шотландским поэтом. Расшевелить его удавалось не всякому писателю. Он оставался холоден, когда, по дядиному совету, читал Ламартина, или когда сам дядя декламировал со всхлипом “Озеро”, качая головой и удрученно приговаривая “Comme c'est beau!”³ Перспектива изучать многословные, водянистые произведения и влияние их на другие многословные, водянистые произведения была мало прельстительна. Так бы он, пожалуй, ничего не выбрал, если б все время что-то не шептало ему, что выбор его несвободен, что есть одно, чем он заниматься обязан. В великолепную швейцарскую осень он впервые почувствовал, что в конце концов он изгнанник, обречен жить вне родного дома. Это слово “изгнанник” было сладчайшим звуком: Мартын посмотрел на черную еловую ночь, ощутил на своих щеках байронову бледность и увидел себя в плаще.

³ Как это красиво (франц.)

Этот плащ он надел в Кембридже, даром, что был он легонький, из прозрачноватой на свет материи, со многими сборками, и с крылатыми полурукавами, которые закидывались за плечи. Блаженство духовного одиночества и дорожные волнения получили новую значительность. Мартын словно подобрал ключ ко всем тем смутным, диким и нежным чувствам, которые осаждали его.

Профессором русской словесности и истории был в ту пору небезызвестный Арчибалд Мун. В России он прожил довольно долго, всюду побывал, всех знал, все перевидел. Теперь, черноволосый, бледный, в пенсне на тонком носу, он бесшумно проезжал на велосипеде с высоким рулем, сидя совсем прямо, а за обедом, в знаменитой столовой с дубовыми столами и огромными цветными окнами, вертел головой, как птица, и быстро, быстро крошил длинными пальцами хлеб. Говорили, единственное, что он в мире любит, это – Россия. Многие не понимали, почему он там не остался. На вопросы такого рода Мун неизменно отвечал: “Справьтесь у Робертсона” (это был востоковед) “почему он не остался в Вавилоне”. Возражали вполне резонно, что Вавилона уже нет. Мун кивал, тихо и хитро улыбаясь. Он усматривал в октябрьском перевороте некий отчетливый конец. Охотно допуская, что со временем образуется в советском союзе, пройдя через первобытные фазы, известная культура, он вместе с тем утверждал, что Россия завершена и неповторима, – что ее можно взять, как прекрасную амфору, и поставить под стекло. Печной горшок, который там теперь обжигался, ничего общего с нею не имел. Гражданская война представлялась ему нелепой: одни бьются за призрак прошлого, другие за призрак будущего, – меж тем, как Россию потихоньку украл Арчибалд Мун и запер у себя в кабинете. Ему нравилась ее завершенность. Она была расцвечена синевою вод и прозрачным пурпуром пушкинских стихов. Вот уже скоро два года, как он писал на английском языке ее историю, надеялся всю ее уложить в один толстенький том. Эпиграф из Китса (“Создание красоты – радость навеки”), тончайшая бумага, мягкий сафьяновый переплет. Задача была трудная: найти гармонию между эрудицией и тесной живописной прозой, дать совершенный образ одного округлого тысячелетия.

ГЛАВА XVII

Арчибалд Мун поразил и очаровал Мартына. Его медленный русский язык, из которого он годами терпения вытравил последний отзвук английской гортанности, был плавен, прост и выразителен. Его знания отличались живостью, точностью и глубиной. Он вслух читал Мартыну таких русских поэтов, коих тот не знал даже и по имени. Придерживая страницу длинными, чуть дрожащими пальцами, Арчибалд Мун источал четырехстопные ямбы. Комната была в полумраке, свет лампы выхватывал только страницу да лицо Муна, с бледным лоском на скулах, тремя тонкими бороздками на лбу и прозрачно-розовыми ушами. Дочитав, он сжимал узкие губы, осторожно, как стрекозу, снимал пенсне и замшей вытирал стекла. Мартын сидел на краешке кресла, держа свою черную квадратную шапку на коленях. “Ради Бога, снимите плащ, отложите куда-нибудь эту шапку, – болезненно морщась, говорил Мун. – Неужели вам нравится мять эту кисточку? Отложите, отложите...” Он подталкивал к Мартыну стеклянную папиросницу с гербом колледжа на серебряной крышке или вынимал из шкапа в стене бутылку виски, сифон, два стакана. “А вот скажите, как называются тамошние телеги, в которых развозят виноград”? – спрашивал он, дергая головой, и, выяснив, что Мартын не знает: “Можары, можары, сэр”, – говорил он со вкусом, – и неизвестно, что доставляло ему больше удовольствия, то ли, что он знает Крым лучше Мартына, или то, что ему удастся произнести с русским экающим выговором словечко сэр. Он радостно сообщал, что “хулиган” происходит от названия шайки ирландских разбойников, а что остров “Голодай” не от голода, а от имени англичанина Холидея, построившего там завод. Когда однажды Мартын, говоря о каком-то невежественном журналисте (которому Мун ответил грозным письмом в “Таймс”), сказал, что “журналист вероятно сдрейфил”, Мун поднял брови, справился в словаре и спросил Мартына, не жил ли он в Поволжье, – а когда, по другому случаю, Мартын употребил слово “утробить”, Мун рассердился и крикнул, что такого слова по-русски нет и быть не может. “Я его слышал, его знают все”, – робко проговорил Мартын, и его поддержала Соня, которая сидела на кушетке рядом с Ольгой Павлов-

ной и смотрела не без любопытства, как Мартын хозяйничает. “Русское словообразование, рождение новых слов, – сказал Мун, обернувшись вдруг к улыбающемуся Дарвину, – кончилось вместе с Россией; то есть два года тому назад. Все последующее – блатная музыка”. “Я по-русски не понимаю, переведите” – ответил Дарвин. “Да, мы все время сбиваемся, – сказала Зиланова. – Это нехорошо. Пожалуйста, господа, по-английски”. Мартын меж тем приподнял металлический купол с горячих гренок и пирожков (которые слуга принес из колледжской кантины) проверил, то ли доставили, и придвинул блюдо поближе к пылающему камину. Кроме Дарвина и Муна, он пригласил русского студента, которого все называли просто по имени – Вадим, – и теперь не знал, ждать ли его или приступить к чаепитию. Это был первый раз, что Зиланова с дочерью приехала навестить его, и он все боялся насмешки со стороны Сони. Она была в темно-синем костюме и в крепких коричневых башмачках, длинный язычок которых, пройдя внутри, под шнуровкой, откидывался и, прикрывая шнуровку сверху, заканчивался кожаной бахромой; стриженные, жестковатые на вид, черные волосы ровной челкой находили на лоб; к ее тускло-темным, слегка раскосым глазам странно шли ямки на бледных щеках. Утром, когда Мартын встретил ее и Ольгу Павловну на вокзале, и потом, когда он показывал им старинные дворы, фонтан, аллеи исполинских голых деревьев, из которых с карканьем тяжело и неряшливо вымахивали вороны, Соня была молчалива, чем то недовольна, говорила, что ей холодно. Глядя через каменные перила на рябую речку, на матово-зеленые берега и серые башни, она прищурилась и осведомилась у Мартына, собирается ли он ехать к Юденичу. Мартын удивленно ответил, что нет. “А вон то, розоватое, что это такое?” “Это здание библиотеки”, – объяснил Мартын и спустя несколько минут, идя рядом с Соней и ее матерью под аркадами, загадочно проговорил: “Одни бьются за призрак прошлого, другие – за призрак будущего”. “Вот именно, – подхватила Ольга Павловна. – Мне мешает по-настоящему воспринять Кембридж то, что наряду с этими чудными старыми зданиями масса автомобилей, велосипедов, спортивные магазины, всякие футболы”. “В футбол, – сказала Соня, – играли и во времена Шекспира. А мне вот не нравится, что говорят пошлости”. “Соня, пожалуйста. Сократись”, – сказала Ольга Павловна. “Ах, я не про тебя”, – ответила Соня со вздохом. Дальше шли молча. “Кажется, забусило”, – проговорил Мартын, вытянув руку. “Вы бы еще сказали пан Дождинский или князь Ливень”, – заметила Соня и на ходу переменяла шаг, чтоб идти в ногу с матерью. Потом, за завтраком в лучшем городском ресторане, она повеселела. Ее рассмешили “обезьянья” фамилия приятеля Мартына и диалоги, которые Дарвин вел с необыкновенно уютным старичком-лакеем. “Вы что изучаете?” – любезно спросила Ольга Павловна. “Я? Ничего, – ответил Дарвин. – Мне просто показалось, что в этой рыбе на одну косточку больше, чем следует”. “Нет-нет, я спрашиваю, что вы изучаете из наук. Какие слушаете лекции”. “Простите, я вас не понял, – сказал Дарвин. – Но все равно ваш вопрос застает меня врасплох. Память у меня как то не дотягивает от одной лекции до другой. Еще нынче утром я спрашивал себя, каким предметом я занимаюсь. Мнемоникой? Вряд ли”. После обеда была опять прогулка, но куда более приятная, так как, во-первых, вышло солнце, а, во вторых, Дарвин всех повел в галерею, где имелось, по его словам, старинное, замечательно прыткое эхо, – топнешь, а оно, как мяч, стукнет в отдаленную стену. И Дарвин топнул, но никакого эхо не выскочило, и он сказал, что очевидно его купил какой-нибудь американец для своего дома в Массачусетсе. Затем притекли к Мартыну в комнату, и вскоре явился Арчибальд Мун, и Соня тихо спросила у Дарвина, почему у профессора напудрен нос. Мун плавно заговорил, щеголяя чудесными сочными пословицами. Мартын находил, что Соня ведет себя нехорошо. Она сидела с каменным лицом, но вдруг невпопад смеялась, встретясь глазами с Дарвином, который, закинув ногу на ногу, уминал пальцем табак в трубке. “Что же это Вадим не идет?” – беспокойно сказал Мартын и потрогал полный бочок чайника. “Ну, уж наливайте”, – сказала Соня, и Мартын завозился с чашками. Все умолкли и смотрели на него. Мун курил смугло-желтую папиросу из породы тех, которые в Англии зовутся русскими. “Часто пишет вам ваша матушка?” – спросила Зиланова. “Каждую неделю”, – ответил Мартын. “Она поди скучает”, – сказала Ольга Павловна и подула на чай. “А лимона, я как посмотрю, у вас и нет”, – тонко заметил Мун – опять по-русски. Дарвин вполголоса попросило Соню перевести. Мун на него покосился и перешел на английскую речь: нарочито и злобно изображая средний кембриджский тон, он сказал, что был дождь, но теперь прояснилось, и, пожалуй, дождя больше

не будет, упомянул о регате, обстоятельно рассказал всем известный анекдот о студенте, шкапе и кухне, – и Дарвин курил и кивал, приговаривая: “Очень хорошо, сэр, очень хорошо. Вот он, подлинный, трезвый британец в часы досуга”.

ГЛАВА XVIII

Раздался топот на лестнице, и, с размаху открыв дверь, вошел Вадим. Одновременно его велосипед, который он оставил в переулке, приладив опущенную педаль к краю панели, с дребезжанием упал, – этот звон все услышали, ибо второй этаж находился на пустяковой высоте. Руки у Вадима, маленькие, с обгрызанными ногтями, были красны от холода рулевых рогов. Лицо, покрытое необыкновенно нежным и ровным румянцем, выражало оторопелое смущение; он его скрывал, быстро дыша, словно запыхался, да потягивая носом, в котором всегда было сыро. Был он одет в мятые, бледно-серые фланелевые штаны, в прекрасно сшитый коричневый пиджак и носил всегда, во всякую погоду и во всякое время, старые бальные туфли. Продолжая посапывать и растерянно улыбаться, он со всеми поздоровался и подсел к Дарвину, которого очень любил и почему-то прозвал “мамкой”. У Вадима была одна постоянная прибаутка, которую он Дарвину с трудом перевел: “Приятно зреть, когда большой медведь ведет под ручку маленькую сучку”, – и на последних словах голос у него становился совсем тонким. Вообще же он говорил скоро, отрывисто, издавая при этом всякие добавочные звуки, шипел, трубил, пищал, как дитя, которому не хватает ни мыслей, ни слов, а молчать невмоготу. Когда же он бывал смущен, то становился еще отрывистее и нелепее, производя смешанное впечатление застенчивого тихони и чудачливого ребенка. Был он, впрочем, милый, привязчивый, привлекательный человек, падкий на смешное и способный живо чувствовать (однажды, гораздо позже, катаясь весенним вечером с Мартыном по реке, он, при случайном, смутном, почему-то миртовом дуновении – Бог весть откуда, – сказал: “пахнет Крымом”, что было совершенно верно). Англичане к нему так и льнули, а его колледжский наставник, толстый, астматический старик, специалист по моллюскам, с гортанной нежностью произносил его имя и снисходительно относился к его шалопайству. Как-то, в темную ночь, Мартын и Дарвин помогли Вадиму снять с чела табачной лавки вывеску, которая с тех пор красовалась у него в комнате. Он добыл и полицейский шлем, простым и остроумным способом: за полкроны, блеснувшие при луне, попросил добродушного полицейского пособить ему перебраться через стену и, оказавшись наверху, нагнулся и сдернул с него шлем. Он же был зачинщиком в случае с огненной колесницей, когда, празднуя годовщину порохового заговора, весь город плевался потешными огнями, и на площади бушевал костер, а Вадим со товарищи запряглись в старое ландо, которое купили за два фунта, наполнили соломой и подожгли, – с этим ландо они мчались по улицам в метели огня и чуть не спалили ратушу. Кроме всего он был отличным сквернословом, – одним из тех, которые привяжутся к рифмочке и повторяют ее без конца, любят уютные матюжки, ласкательную физиологию и обрывки каких-то анонимных стихов, приписываемых Лермонтову. Образованием он не блистал, по-английски говорил очень смешно и симпатично, но едва понятно, и была у него одна страсть, – страсть ко флоту, к миноносцам, к батальной стройности линейных кораблей, и он мог часами играть в солдатики, паля горохом из серебряной пушки. Его прибаутки, бальные туфли, застенчивость и хулиганство, нежный профиль, обведенный на свет золотистым пушком, – все это, в сочетании с великолепием титула, действовало на Арчибальда Муна неотразимо, разымчиво, вроде шампанского с соленым миндалем, которым он некогда упивался, – одинокий бледный англичанин в запотевшем пенсне, слушающий московских цыган. Но сейчас, сидя у камина с чашкой в руке, Мун грыз маслом пропитанный гренок, и Ольга Павловна рассказывала ему о газете, которую собирается выпускать в Париже ее муж. Мартын же с тревогой думал, что напрасно позвал Вадима, который молчал, стесняясь Сони, и все щелкал исподтишка в Дарвина изюминками, заимствованными у кекса. Соня приумолкла тоже и задумчиво смотрела на пианолу. Дарвин с развальцем подошел к камину, выбил золу из трубки и, став спиной к огню, принялся греться. “Мамка”, – тихо сказал Вадим и засмеялся. Ольга Павловна с жаром говорила о делах, который Мун нимало не трогали. За окном потемнело, где-то далеко кри-

чали мальчишки-газетчики: “Пайпа, пайпа!”

ГЛАВА XIX

Затем провожали Зилановых на вокзал. Арчибальд Мун попрощался на первом же углу и, нежно улыбнувшись Вадиму (который за его спиной обычно звал его заборным словом с дополнением “на колесиках”), удалился, держась очень прямо. Некоторое время Вадим тихо ехал вдоль самой панели, положив руку на плечо к Дарвину, шедшему рядом, а потом суетливо простился и быстро отъехал, производя губами звуки испорченного гудка. Пришли на вокзал, Дарвин взял себе и Мартыну перронные билеты. Соня была усталая, раздраженная, и все время щурилась. “Ну, вот, – сказала Ольга Павловна. – Спасибо за гостеприимство, за угощение. Кланяйтесь матушке, когда будете писать”.

Но Мартын поклона не передал, – такие вещи передаются редко. Вообще письма он писал с трудом: как рассказать, например, о сегодняшнем, довольно путанном, чем то неудачном и неприятном дне? Он намарал строк десять, воспроизвел анекдот о студенте, шкапе и кухне, уверил мать, что совершенно здоров, хорошо питается и носит на теле фуфайку (что было неправдой). Ему вдруг представилось, как почтальон идет по снегу, снег похрустывает, остаются синие следы, – и он об этом написал так: “Письмо принесет почтальон. У нас идет дождь”. Подумавши, он почтальона вычеркнул и оставил только дождь. Адрес он выписал крупно и тщательно, в десятый раз вспомнив при этом то, что ему сказал знакомый студент: “Судя по фамилии, я полагал, что вы американец”. Он пожалел, что всякий раз забывал это втиснуть в письмо, неизменно уже запечатанное, – вскрывать же было лень. В углу конверта он нечаянно поставил кляксу и долго смотрел на нее сквозь ресницы, и наконец сделал из нее черную кошку, видимую со спины. Софья Дмитриевна этот конверт сохранила вместе с письмами. Она складывала их в пачку, когда кончался биместр, и обвязывала накрест ленточкой. Спустя несколько лет ей довелось их перечесть. Первый биместр⁴ был сравнительно богат письмами. Вот Мартын приехал в Кембридж, вот – первое упоминание о Дарвине, Вадиме, Арчибальде Муне, вот – письмо от девятого ноября, дня его именин: “В этот день, – писал Мартын, – гусь ступает на лед, а лиса меняет нору”. А вот и письмо с вычеркнутой, но четкой строкой: “Письмо принесет почтальон”, – и Софья Дмитриевна пронзительно вспомнила, как, бывало, она с Генрихом идет по искрящейся дороге, между елок, отягощенных пирогами снега, и вдруг – густой звон бубенцов, почтовые сани, письмо, – и поспешно снимаешь перчатки, чтобы вскрыть конверт. Она вспомнила, как в ту пору, и затем в продолжение почти года, безумно боялась, что Мартын, ничего ей не сказав, отправится воевать. Ее немного утешало, что там, в Кембридже, есть какой-то человек-ангел, который влияет на Мартына умиротворительно – прекрасный, здравомыслящий Арчибальд Мун. Но Мартын все-таки мог удрать. Полный покой она знала только тогда, когда сын бывал при ней, в Швейцарии, на каникулах. Письма, которые она, спустя годы, так мучительно перечитывала, были, несмотря на их вещественность, более призрачного свойства, нежели перерывы между ними. Эти перерывы память заполняла живым присутствием Мартына, – тут Рождество, там Пасха, а там уже – лето, – и в продолжение трех лет, до окончания Мартыном университета, ее жизнь шла как бы окнами, – да, помнится, помнится, – окнами. Вот – этот первый зимний праздник, лыжи, по ее совету, купленные Генрихом, Мартын, надевающий лыжи... “Надо быть храброй, – тихо сказала самой себе Софья Дмитриевна, – надо быть храброй. Ведь бывают чудеса. Надо только верить и ждать. Если Генрих опять появится с этой черной повязкой на рукаве, я от него просто уйду”. И дрожащими руками, улыбаясь и обливаясь слезами, она продолжала разворачивать письма.

То первое рождественское возвращение, которое его мать запомнила так живо, оказалось и для Мартына праздником. Ему мерещилось, что он вернулся в Россию, – было все так бело, – но, стесняясь своей чувствительности, он об этом матери тогда не поведал, чем лишил ее еще одного нестерпимого воспоминания. Лыжи ему понравились; на мгновение всплыл занесенный снегом Крестовский остров, но, правда, он тогда вставлял носки валенок

⁴ Два месяца

в простые пульты, да еще держался за поводок, привязанный ко вздернутым концам легких детских лыж. Эти же были настоящие, солидные, из гибкой ясени, и сапоги тоже были настоящие, лыжные. Мартын, склонив одно колено, натянул запяточный ремень, отогнув тугой рычажок боковой пряжки. Морозный металл ужалил пальцы. Приладив и другую лыжу, он поднял со снега перчатки, выпрямился, потопал, проверяя, прочно ли, и размашисто скользнул вперед.

Да, он опять попал в Россию. Вот эти великолепные ковры – из пушкинского стиха, который столь звучно читает Арчибальд Мун, упиваясь пеономы. Над отяжелевшими елками небо было чисто и ярко лазурно. Иногда от перелета сойки срывался с ветки ком снега и рассыпался в воздухе. Пройдя сквозь бор, Мартын вышел на открытое место, откуда летом спускался к гостинице. Вон она – далеко внизу, прямой розовый дымок стоит над крышей. Чем она манит так, эта гостиница, отчего надо опять стремиться туда, где летом он нашел только несколько крикливых угловатых англичаночек? Но манила она несомненно, подавала тихий знак, солнце вспыхивало в окнах. Мартына даже пугала эта таинственная навязчивость, эта непонятная требовательность, бывавшая у какой-нибудь подробности пейзажа. Надо спуститься, – нельзя пренебрегать такими посулами. Крепкий наст сладко засвистел под лыжами, Мартын неся по скату все быстрее, – и сколько раз потом, во сне, в студеной кембриджской комнате он вот так неся и вдруг, в оглушительном взрыве снега, падал и просыпался. Все было, как всегда. Из соседней комнаты доносилось тиканье часов. Мышка катала кусок сахару. По панели прошли чьи-то шаги и пропали. Он поворачивался на другой бок и мгновенно засыпал, – и утром, в полусне, слышал уже другие звуки: в соседней комнате возилась госпожа Ньюман, что-то переставляла, накладывала уголь, чиркала спичками, шуршала бумагой и потом уходила, а тишина медленно и сладко наливалась утренним гудом затопленного камина. “Ничего там особенного не оказалось, – подумал Мартын и потянулся к ночному столику за папиросами. – Все больше пожилые мужчины в свитерах: вот какие бывают обманы. А сегодня суббота, покатаем в Лондон. Что это Дарвину все письма от Сони? Надо бы из него выдавить. Хорошо бы сегодня пропустить лекцию Гржезинского. Вот идет стерва будить”.

Госпожа Ньюман принесла чай. Была она старая, рыжая, с лисьими глазками. “Вы вчера вечером выходили без плаща, – проговорила она равнодушно. – Мне об этом придется доложить вашему наставнику”. Она отдернула шторы, дала краткий, но точный отзыв о погоде и скользнула прочь.

Надев халат, Мартын спустился по скрипучей лестнице и постучался к Дарвину. Дарвин, уже побритый и вымытый, ел яичницу с беконом. Толстый учебник Маршала по политической экономии лежал, раскрытый, около тарелки. “Сегодня опять было письмо?” – строго спросил Мартын. “От моего портного”, – ответил Дарвин, вкусно жуя. “У Сони неважный почерк”, – заметил Мартын. “Отвратительный”, – согласился Дарвин, хлебнув кофе. Мартын подошел сзади, и, обеими руками взяв Дарвина за шею, стал давить. Шея была толстая и крепкая. “А бекон прошел”, – произнес Дарвин самодовольно натуженным голосом.

ГЛАВА XX

Вечером оба покатали в Лондон. Дарвин ночевал в одной из тех очаровательных двухкомнатных квартир для холостяков, которые сдаются при клубах, – а клуб Дарвина был одним из лучших и степеннейших в Лондоне, с тучными кожаными креслами, с лоснистыми журналами на столах, с глухонемыми коврами. Мартыну же досталась на этот раз одна из верхних спален в квартире Зилановых, так как Нелли была в Ревеле, а ее муж шел на Петербург. Когда Мартын прибыл, никого не оказалось дома, кроме самого Зиланова, Михаила Платоновича, который писал у себя в кабинете. Был он коренастый крепыш, с татарскими чертами лица, и с такими же темно-тусклыми глазами, как у Сони. Он всегда носил круглые пристяжные манжеты и манишку; манишка топорщилась, придавая его груди нечто голубиное. Принадлежал он к числу тех русских людей, которые, проснувшись, первым делом натягивают штаны с болтающимися подтяжками, моют по утрам только лицо, шею да руки, – но зато отменно, – а еженедельную ванну рассматривают, как событие, сопряженное с не-

которым риском. На своем веку он немало покатался, страстно занимался общественностью, мыслил жизнь в виде чередования съездов в различных городах, чудом спасся от советской смерти и всегда ходил с разбухшим портфелем: когда же кто-нибудь задумчиво говорил: “Как мне быть с этими книжками? – дождь”, – он молча, молниеносно и чрезвычайно ловко пеленал книжки в газетный лист, а, порывшись в портфеле, вынимал и веревочку, мгновенно крест на крест захватывал ею ладный пакет, на который незадачливый знакомый, переминаясь с ноги на ногу, смотрел с суеверным умилением. “Нате, – говорил Зиланов и, поспешно простившись, уезжал – в Орел, в Кострому, в Париж, – и всегда налегке, с тремя чистыми носовыми платками в портфеле, и, сидя в вагоне, совершенно слепой к живописным местам, мимо которых, с доверчивым старанием потрафить, неся курьерский поезд, углублялся в чтение брошюры, изредка делая пометки на полях. Дивясь его невнимательности к пейзажам, к удобствам, к чистоте, Мартын вместе с тем уважал Зиланова за его какую-то прущую суховатую смелость и всякий раз, когда видел его, почему-то вспоминал, что этот, по внешности мало спортивный человек, играющий вероятно только на бильярде, да еще, пожалуй, в рюхи, спасся от большевиков по водосточной трубе и когда-то дрался на дуэли с октябристом Тучковым.

“А, здравствуйте, – сказал Зиланов и протянул смуглую руку. – Присаживайтесь”. Мартын сел. Михаил Платонович впился опять в полуисписанный лист, взялся за перо и, – потрепетав им по воздуху над самой бумагой, прежде, чем претворить эту дрожь в быстрый бег письма, – одновременно дал перу волю и сказал: “Они, вероятно, сейчас вернутся”. Мартын притянул к себе с соседнего стула газету, – она оказалась русской, издаваемой в Париже. “Как занятия?” – спросил Зиланов, не поднимая глаз с ровно бегущего пера. “Ничего, хорошо”, – сказал Мартын и отложил газету. “А давно они ушли?” Михаил Платонович ничего не ответил, – перо разгулялось во всю. Зато минуты через две он опять заговорил, все еще не глядя на Мартына. “Баклуши бьете. Там ведь главное – спорт”. Мартын усмехнулся. Михаил Платонович быстро потопал по строкам пресс-бюваром, и сказал: “Софья Дмитриевна все просит у меня дополнительных сведений, но я ничего больше не знаю. Все, что я знал, я ей тогда написал в Крым”. Мартын кашлянул. “Что вы?” – спросил Зиланов, усвоивший в Москве это дурное речение. “Я ничего”, – ответил Мартын. “Это о смерти вашего отца, конечно, – сказал Зиланов и посмотрел тусклыми глазами на Мартына. – Ведь это я известил вас тогда”. “Да-да, я знаю”, – поспешно закивал Мартын, всегда чувствовавший неловкость, когда чужие – с самыми лучшими намерениями – говорили ему об его отце. “Как сейчас помню последнюю встречу – продолжал Зиланов. – Мы столкнулись на улице. Я тогда уже скрывался. Сперва не хотел подойти. Но у Сергея Робертовича был такой потрясающий вид. Помню, он очень беспокоился, как вы там живете в Крыму. А через денька три забегаю к нему, и нате вам – несут гроб”. Мартын кивал, мучительно ища способа переменить разговор. Все это Михаил Платонович рассказывал ему в третий раз, и рассказ был в общем довольно бледный. Зиланов замолчал, перевернул лист, его перо поддрожало и тронулось. Мартын, от нечего делать, опять потянулся к газете, но тут щелкнула парадная дверь, раздались в прихожей голоса, шарканье, ужасный кудахтающий смех Ирины.

ГЛАВА XXI

Мартын вышел к ним, и, как обычно при встрече с Соней, мгновенно почувствовал, что потемнел воздух вокруг него. Так было и в ее последний приезд в Кембридж (вместе с Михаилом Платоновичем, который мучил Мартына вопросами, сколько лет различным колледжам, и сколько книг в библиотеке, – меж тем как Соня и Дарвин о чем-то тихо смеялись), так было и сейчас: странное оупение. Его голубой галстук, острые концы мягкого отложного воротничка, двубортный костюм, – все было как будто в порядке, однако Мартыну под непроницаемым взглядом Сони показалось, что одет он дурно, что волосы торчат на макушке, что плечи у него, как у ломового извозчика, а лицо – глупо своей круглотой. Отвратительны были и крупные костяшки рук, которые за последнее время покраснели и распухли – от голкиперства, от боксовой учебы. Прочное ощущение счастья, как-то связанное с силой в плечах, со свежей гладкостью щек или недавно запломбированным зубом, распадалось в

присутствии Сони мгновенно. И особенно глупым казалось ему то, что собственно говоря брови у него кончаются на полпути, густоваты только у переносицы, а дальше, по направлению к вискам, удивленно редуют.

Сели ужинать. Наталья Павловна, такая же сырая женщина, как ее сестра, но еще реже улыбающаяся, привычно и незаметно следила за тем, чтобы Ирина пристойно ела, не слишком ложилась на стол и не лизала ножа. Михаил Платонович явился чуть попозже, быстро и энергично заложил угол салфетки за воротник и, слегка привстав, цопнул через весь стол булочку, которую мгновенно разрезал и смазал маслом. Его жена читала письмо из Ревеля и, не отрываясь от чтения, говорила Мартыну: “Кушайте, пожалуйста”. Слева от него корячилась большеротая Ирина, чесала подмышкой и мычала, объясняясь в любви холодной баранине; справа же сидела Соня: ее манера брать соль на кончик ножа, стриженные черные волосы с жестким лоском и ямка на бледной щеке чем то несказанно его раздражали. После ужина позвонил по телефону Дарвин, предложил поехать танцевать, и Соня, поломавшись, согласилась. Мартын пошел переодеваться и уже натягивал шелковые носки, когда Соня сказала ему через дверь, что устала и никуда не поедет. Через полчаса приехал Дарвин, очень веселый, большой и нарядный, в цилиндре набекрень, с билетами на дорогой бал в кармане, и Мартын сообщил ему, что Соня раскисла и легла, – и Дарвин, выпив чашку остывшего чаю, почти естественно зевнул и сказал, что в этом мире все к лучшему. Мартын знал, что он приехал в Лондон с единственной целью повидать Соню, и, когда Дарвин, насвистывая, в ненужном цилиндре и крылатке, стал удаляться по пустой темной улице, Мартыну сделалось очень обидно за него, и, тихо прикрыв входную дверь, он поплелся наверх спать. В коридоре выскочила к нему Соня, одетая в кимоно и совсем низенькая, оттого что была в ночных туфлях. “Ушел?” – спросила она. “Большое свинство”, – вполголоса заметил Мартын, не останавливаясь. “Могли бы его задержать”, – сказала она вдогонку и скороговоркой добавила: “а вот я возьму и позвоню ему и поеду плясать вот что”. Мартын ничего не ответил, захлопнул дверь, яростно вычистил зубы, раскрыл постель, словно хотел из нее кого-то выкинуть, и, поворотом пальцев прикончив свет лампы, накрылся с головой. Но и сквозь одеяло он услышал, спустя некоторое время, поспешные шаги Сони по коридору, стук ее двери, – не может быть, чтоб она действительно ходила вниз телефонировать, – однако он прислушался, и снова было затишье, и вдруг опять зазвучали ее шаги, и уже звук был другой, – легкий, даже воздушный. Мартын не выдержал, высунулся в коридор и увидел, как Соня вприпрыжку спускается вниз по лестнице, в бальном платье цвета фламинго, с пушистым веером в руке и с чем то блестящим вокруг черных волос. Дверь ее комнаты осталась открытой, света она не потушила, и там еще стояло облачко пудры, как дымок после выстрела, лежал наповал убитый чулок, и выпадали на ковер разноцветные внутренности шкапа.

Вместо радости за друга, Мартын почувствовал живейшую досаду. Все было тихо. Только из спальни Зилановых исходил томительный храп. “Черт ее побери”, – пробормотал он и некоторое время рассуждал сам с собой, не отправиться ли ему тоже на бал, – ведь было три билета. Он увидел себя взлетающим по мягким ступеням, в смокинге, в шелковой рубашке с набористой грудью, как носили франты в тот год; в легких лаковых туфлях с плоскими бантами; вот – из раскрывшихся дверей пахнуло огнем музыки. Упругий и нежный нажим мягкой женской ноги, которая все поддается и все продолжает касаться тебя, душистые волосы у самых губ, щека, оставляющая на шелковом лацкане налет пудры – все это извечное, нежное, банальное волновало Мартына чрезвычайно. Он любил танцевать с незнакомой дамой, любил пустой, целомудренный разговор, сквозь который прислушиваешься к тому чудному, невнятному, что происходит в тебе и в ней, что будет длиться еще два-три такта и, ничем не разрешившись, пропадет навеки, забудется совершенно. Но, пока слияние еще не расторгнуто, намечается схема возможной любви, и в зачатке тут уже есть все, – внезапное затишье в полутемной комнате, человек, дрожащей рукой прилаживающий к пепельнице только что закуренную, мешающую папиросу; медленно, как в кинематографе, закрывающееся женские глаза; и блаженный сумрак; и в нем – точка света, блестящий дорожный лимузин, быстро несущийся сквозь дождливую ночь; и вдруг – белая терраса и солнечная рябь моря, – и Мартын, тихо говорящий увезенной им женщине: “Имя? Как твое имя?” На ее светлом платье играют лиственные тени, она встает, уходит; и крупье с хищным лицом за-

гребают лопаткой последнюю ставку Мартына, и остается только засунуть руки в пустые карманы смокинга, да медленно спуститься в сад, да наняться поутру портовым грузчиком, – и вот – она снова... на борту чужой яхты... сияет, смеется, бросает монеты в воду...

“Странная вещь, – сказал Дарвин, выходя как то вместе с Мартином из маленького кембриджского кинематографа, – странная вещь: ведь все это плохо, и вульгарно, и не очень вероятно, – а все-таки чем то волнуют эти ветреные виды, роковая дама на яхте, оборванный мужлан, глотающий слезы...”

“Хорошо путешествовать, – проговорил Мартин. – Я хотел бы много путешествовать”.

Этот обрывок разговора, случайно уцелевший от одного апрельского вечера, припомнился Мартину, когда, в начале летних каникул, уже в Швейцарии, он получил письмо от Дарвина с Тенериффы. Тенериффа – Боже мой! – какое дивно зеленое слово! Дело было утром; сильно подурневшая и как-то распухшая Мария стояла в углу на коленях и выжимала половую тряпку в ведро; над горами, цепляясь за вершины, плыли большие белые облака, и порою несколько дымных волокон спускалось по дальнему скату, и там, на этих скатах, все время менялся свет, – приливы и отливы солнца. Мартин вышел в сад, где дядя Генрих в чудовищной соломенной шляпе разговаривал с деревенским аббатом. Когда аббат, маленький человек в очках, которые он все поправлял большим и пятым пальцем левой руки, низко поклонился и, шурша черной рясой, прошел вдоль сияющей белой стены и сел в таратайку, запряженную толстой, розоватой лошастью, сплошь в мелкой горчице, Мартин сказал: “Тут прекрасно, я обожаю эти места, но почему бы мне – ну, хотя бы на месяц – не поехать куда-нибудь, – на Канарские острова, например?”

“Безумие, безумие, – ответил дядя Генрих с испугом, и его усы слегка затопорщились. – Твоя мать, которая так тебя ждала, которая так счастлива, что ты остаешься с ней до октября, – и вдруг – ты уезжаешь...”

“Мы бы могли все вместе”, – сказал Мартин.

“Безумие, – повторил дядя Генрих. – Потом, когда ты кончишь учиться, я не возражаю. Я всегда считал, что молодой человек должен видеть мир. Помни, что твоя мать только теперь оправляется от потрясений. Нет, нет, нет”.

Мартин пожал плечами и, засунув руки в карманы коротких штанов, побрел по тропинке, ведущей к водопаду. Он знал, что мать ждет его там, у грота, полузавешенного еловой хвоей, – так было условлено, – она выходила гулять очень рано и, не желая будить Мартына, оставляла для него записку: “У грота, в десять часов” или: “У ключа, по дороге в Сен-Клер”; но, хотя он знал, что она ждет, Мартин вдруг переменял направление и, покинув тропу, пошел по вереску вверх.

ГЛАВА XXII

Склон становился все круче, пекло солнце, мухи норовили сесть на губы и глаза. Дойдя до круглой березовой рощицы, он отдохнул, выкурил папиросу, ту же подтянул завороченные под коленями чулки и, жуя березовый листок, стал подниматься дальше. Вереск был хрустящий и скользкий; иногда колючий кустик утесника цеплялся за ногу. Спереди, наверху, сверкало нагромождение скал, и между ними пролегал желоб, веерная трещина, полная мелких камушков, которые пришли в движение, как только он на них ступил. Этим путем нельзя было добраться до вершины, и Мартин пошел лезть прямо по скалам. Иногда корни или моховые ляпки, за которые он хватался, отрывались от скалы, и он лихорадочно искал под ногой опоры, или же, наоборот, что-то поддавалось под ногами, он повисал на руках, и приходилось мучительно подтягиваться вверх. Он уже почти достиг вершины, когда вдруг поскользнулся и начал съезжать, цепляясь за кустики жестких цветов, не удержался, почувствовал жгучую боль, оттого, что коленом проскреб по скале, попытался обнять скользющую вверх крутизну, и вдруг что-то спасительное толкнуло его под подошвы. Он оказался, на выступе скалы, на каменном карнизе, который справа суживался и сливался со скалой, а с левой стороны тянулся саженой на пять, заворачивал за угол, и что с ним было дальше – неизвестно. Карниз напоминал бутафорию кошмаров. Мартин стоял, плотно прижавшись к отвесной скале, по которой грудью проехался, и не смел отлепиться. С натугой посмотрев

через плечо, он увидел чудовищный обрыв, сияющую, солнечную пропасть, и в глубине панику отставших елок, бегом догоняющих спустившийся бор, а еще ниже – крутые луга и крохотную, ярко-белую гостиницу. “Ах, вот ее назначение, – суеверно подумал Мартын. – Сорвусь, погибну, вот она и смотрит. Это... Это...” Одинаково ужасно было смотреть туда, в пропасть, и наверх, на отвесную скалу. Полка, шириной с книжную, под ногами и бугристое место на скале, куда вцепились пальцы, было все, что оставалось Мартыну от прочного мира, к которому он привык.

Он почувствовал слабость, мутность, тошный страх, – но вместе с тем странно отчетливо видел себя, как бы со стороны, в открытой фланелевой рубашке и коротких штанах, неуклюже прильнувшим к скале, отмечал чертополошинку, приставшую к чулку, и совсем черную бабочку, которая с завидной небрежностью пропорхнула тихим чертенком и стала подниматься вдоль скалы, – и хотя никого не было кругом, перед кем стояло бы пофорсить, Мартын стал насвистывать и, дав себе слово никак не отвечать на приглашения пропасти, принялся медленно переставлять ноги, подвигаясь влево. Ах, если б видать, куда заворачивает карниз! Скала как будто надвигалась на него, оттесняла в бездну, нетерпеливо дышавшую ему в спину. Ногти впивались в камень, камень был горяч, синели пучки цветов, неполной восьмеркой пробежала ящерица и застывала, мухи лезли в глаза. Иногда приходилось останавливаться, и он слышал, как самому себе жалуется, – не могу больше, не могу, – и тогда, поймав себя на этом, он начинал издавать губами зачаточный мотив – фокстрот или марсельезу, – после чего облизывался и, опять, жалуясь, продолжал продвигаться вбок. Оставалось полсажени до заворота, когда что-то посыпалось из-под подошвы и, вцепившись в скалу, он невольно повернул голову, и в солнечной пустоте медленно закружилось белое пятнышко гостиницы. Мартын закрыл глаза и замер, но, справившись с тошнотой, опять за двигался. У поворота он быстро сказал: “Пожалуйста, прошу тебя, пожалуйста”, – и просьба его была тотчас уважена: за поворотом полка расширялась, переходила в площадку, а там уже был знакомый желоб и вересковый скат.

Там он отдышался, ощущая во всем теле ломоту и дрожь. Ногти были темно-красные, словно он рвал клубнику, и горело ободранное колено. Опасность, которую он только что пережил, казалась ему куда действительнее той, на которую он напоролся в Крыму. Теперь он испытывал гордость, но эта гордость вдруг утратила всякий вкус, когда Мартын спросил себя, мог ли бы он снова, уже по собственному почину, проделать то, что он проделал случайно. Через несколько дней он не выдержал, опять поднялся по вересковым кручам, но, добравшись до площадки, откуда начинался карниз, не решился на него ступить. Он сердился, науськивал себя, издевался над своей трусостью, воображал Дарвина глядящего на него с усмешкой... постоял, постоял, да махнул рукой, да пошел назад, стараясь не обращать внимания на грубияна, буйствовавшего у него в душе. Вновь и вновь, до самого конца каникул, врывался тот и буянил, и Мартын решил, наконец, больше не подниматься в те места, чтобы не мучиться видом каменной полки, по которой не смеет пройти. И с язвительным чувством недовольства собой он в октябре вернулся в Англию, и прямо с вокзала поехал к Зилановым. Горничная, которая ему открыла, оказалась новой, и это было неприятно, словно он попал к чужим. В гостиной, вся в черном, стояла Соня и поглаживала виски, а потом, резко и прямо, по привычке своей, протянула ему руку. Мартын с удивлением подумал, что ни разу не вспомнил ее за лето, ни разу ей не написал, а что все-таки, – вот ради этой неловкости, которую он чувствует, глядя на ее хмурое, бледное лицо, – стоит проделать немалый путь. “Вы вероятно не знаете о нашем несчастье”, – сказала Соня и как-то сердито рассказала, что на прошлой неделе, в один и тот же день, пришло известие, что Нелли умерла от родов в Бриндизи, а муж ее убит в Крыму. “Ах, он поехал от Юденича к Врангелю”, – беспомощно сказал Мартын и с редкой ясностью представил себе этого Неллиного мужа, которого видел всего раз, и самое Нелли, казавшуюся ему тогда скучной, пресной, а теперь почему-то умершей в Бриндизи. “Мама в ужасном состоянии”, – сказала Соня, перелистывая страницы книги, которая валялась на диване. – “А папа Бог знает где побывал, чуть ли не в Киеве”, – добавила она погодя и, захватив первым пальцем несколько страниц, быстро их процедила. Мартын сел в кресло, потирая руки. Соня захлопнула книгу и сказала, подняв лицо: “Дарвин был идеален, идеален. Он страшно нам помог. Такой трогательный, и так все без лишних слов. Вы у нас ночуете?” “Собственно говоря, – ответил Мартын, – я бы мог и нынче поехать в

Кембридж. Наверно, вам неудобно и так далее”. “Да нет, ерунда какая”, – сказала Соня со вздохом. Внизу раздался глухой звон гонга, и это не вязалось с тем, что в доме траур. Мартын пошел мыть руки и, открыв дверь уборной, столкнулся с Михаилом Платоновичем, у которого не в обычае было запираяться на ключ. Он посмотрел на Мартына тусклым взглядом, неторопливо вжимая пуговку в петлю. “Примите мое глубокое соболезнование, – пробормотал Мартын и почему-то щелкнул каблуками. Зиланов прикрыл глаза в знак признательности, пожал Мартыну руку, и то, что все это происходит на пороге уборной, подчеркивало нелепость рукопожатия и готовых слов. Зиланов, подпрыгивая ногами, словно утряхивая что-то, медленно удалился; Мартын увидел в зеркало свой болезненно сморщенный нос. “Но я же должен был что-нибудь сказать”, – проговорил он сквозь зубы.

Обед прошел молчаливо, если не считать шумное присасывание, с которым Михаил Платонович ел суп. Ирина с матерью была в загородной санатории, а Ольга Павловна к обеду не вышла, так что сидели втроем. Позвонил телефон, и Зиланов, жуя на ходу, проворно ушел в кабинет. “Я знаю, вы баранину не любите”, – тихо сказала Соня, – и Мартын молча улыбнулся, чуть-чуть приглушая улыбку. “Зайдет Иголеви́ч, – сказал Михаил Платонович, вновь садясь за стол. – Он только что из Питера. Дай горчицу. Говорит, что перешел границу в саване”. “На снегу незаметнее”, – через минуту выговорил Мартын, чтобы поддержать беседу, – но беседы не вышло.

ГЛАВА XXIII

Иголеви́ч оказался толстым, бородатым человеком в сером вязаном жилете и в потрепанном черном костюме, с перхотью на плечах. Торчали ушки черных ботинок на лястках, а сквозь неподтянутые носки брезжили завязки подштанников; его полная невнимательность к вещам, к ручке кресла, по которой он похлопывал, к толстой книжке, на которую он сел и которую без улыбки вынул из-под себя и, не посмотрев на нее, отложил, – все это указывало на его тайное родство с самим Зилановым. Кивая большой кудреватой головой, он только кратко поцокал языком, узнав о горе Зилановых, и затем, с места в карьер, мазнув ладонью сверху вниз по грубо скроенному лицу, пустился в повествование. Было очевидно, что единственное, чего он полон, единственное, что занимает его и волнует, – это беда России, и Мартын, с содроганием представлял себе, что было бы, если б взять да перебить его бурную, напряженную речь анекдотом о студенте и кузине. Соня сидела поодаль, оперев локти на колени, а лицо на ладони. Зиланов слушал, положив палец вдоль носа, и изредка говорил, снимая палец: “Простите, Александр Наумович, – но вот вы упомянули...” Иголеви́ч на мгновение останавливался, моргал и затем продолжал говорить, и его лепное лицо замечательно играло, беспрестанно меняя выражение, – играли косматые брови, ноздри грушеобразного носа, складки волосатых щек, между тем, как руки его, с черной шерстью на тыльной стороне, ни одной секунды не оставались в покое, что-то поднимали, подбрасывали, схватывали опять, расшвыривали во все стороны, и жарко, с раскатами, он говорил о казнях, о голоде, о петербургской пустыне, о людской злобе, скудоумии и пошлости. Ушел он за полночь, и уже с порога вдруг обернулся и спросил, сколько стоят в Лондоне галоши. Когда закрылась за ним дверь, Зиланов остался некоторое время стоять в раздумье и, погодя, ушел наверх, к жене. Через три минуты раздался звонок: Иголеви́ч вернулся; оказалось, что он не знает, как дойти до станции подземной дороги. Мартын взялся его проводить и, шагая рядом с ним, мучительно придумывал тему для разговора. “Напомните вашему отцу, – я совсем забыл передать, – что Максимов просит поскорее его статью о добровольческих впечатлениях, – вдруг сказал Иголеви́ч, – он знает, в чем дело, – вы только передайте, Максимов уже вашему отцу писал”. “Непременно”, – ответил Мартын, – хотел что-то добавить, но осекся.

Он, не спеша, вернулся в дом, – представляя себе то Иголеви́ча, в белом балахоне, переходящим границу, то Зиланова с портфелем на какой-то разрушенной станции, под украинскими звездами. Все было тихо в доме, когда он поднимался по лестнице. Раздеваясь, он позевывал и чувствовал странную тоску. Ярко горела лампочка на ночном столике, пухло белела широкая постель, халат, вынутый горничной из портплекда, отливал синим шелком, уютно растянувшись на кресле. Вдруг Мартын с досадой заметил, что забыл захватить с со-

бой книгу, которую облюбовал в гостиной, тогда же мельком решив взять ее с собою в постель. Он накинул халат и спустился во второй этаж. Книга была потрепанным томом Чехова. Он нашел ее – почему-то на полу – и вернулся к себе в спальню. Но тоска не прошла, хотя Мартын был из тех людей, для которых хорошая книжка перед сном – драгоценное блаженство. Такой человек, вспомнив случайно днем, среди обычных своих дел, что на ночном столике, в полной сохранности, ждет книга, – чувствует прилив неизъяснимого счастья. Мартын начал читать, выбрав рассказ, который он знал, любил, мог перечесть сто раз подряд, – “Дама с собачкой”. Ах, как она хорошо потеряла лорнетку в толпе, на ялтинском молу! И внезапно, без всякой как будто причины, он понял, что именно так беспокоит его. В этой светлой комнате спала год назад Нелли, а теперь ее нет.

“Какие пустяки”, – сказал Мартын и попробовал продолжать чтение, – но это оказалось невозможным. Он вспомнил давно минувшие ночи, когда ждал, что покойный отец цап-рапнет в углу. У Мартына сильно забилося сердце; в постели стало жарко и неудобно. Он представил себе, как сам будет когда-нибудь умирать, – и было такое ощущение, словно медленно и неумолимо опускается потолок. Что-то мелко застучало в теневой части комнаты, – и у Мартына екнуло в груди. Но это просто закапала на линолеум вода, пролитая на доску умывальника. А ведь странно: если бродят души покойников, то все хорошо, есть, значит, загробные движения души, – почему же это так страшно? “Как же я сам буду умирать?” – подумал Мартын и начал перебирать в уме все разновидности смерти. Он увидел себя стоящим у стенки, вобравшим в грудь побольше воздуха и ожидающим залпа, и вспоминающим с дикой безнадежностью вот эту, вот эту нынешнюю минуту, – светлую спальню, пухлую ночь, беспечность, безопасность. Могли быть и болезни, ужасные болезни, разрывающие внутренности. Или крушение поезда. Или, наконец, тихое замирание старости, смерть во сне. А еще – темный лес и погоня. “Пустяки, – подумал Мартын. – У меня большой запас. Да и каждый год – целая эпоха. Что же тут тревожиться? А может быть Нелли здесь и сейчас видит меня? Может быть, вот-вот – подаст мне знак?” Он посмотрел на часы, было около двух. Беспокойство становилось нестерпимым. Тишина как будто ждала, – дальний рожок автомобиля был бы счастьем. Тишина лилась, лилась – и вдруг перелилась через край: кто-то на цыпочках босиком шел по коридору. “Спите?” – раздался вопросительный шепот через дверь, и Мартын не сразу мог ответить, что-то заскочило в горле. Соня, войдя, тихо опустила с пальцев на пятки. На ней была желтая пижама, жесткие черные волосы были слегка растрепаны. Так она постояла несколько мгновений, моргая спутанными ресницами. Мартын, присев на постели, глупо улыбался. “Нет никакой возможности спать, – таинственно проговорила Соня. – Мне неприятно, мне как-то жутко, – и потом эти ужасы, которые он рассказывал”. “Отчего вы, Соня, босиком? – пробормотал Мартын. – Хотите мои ночные туфли?” Она покачала головой, задумчиво пуча губы, и затем опять тряхнула волосами и посмотрела неопределенно на Мартынову постель. “Хоп-хоп”, – сказал Мартын, хлопывая по одеялу в ногах постели. Она влезла и встала сперва на колени, а потом медленно задвигалась и свернулась в уголку, на одеяле, между изножьем постели и стеной. Мартын вытащил из-под себя подушку и подложил ей за спину. “Спасибо”, – сказала она совершенно беззвучно, – очертание слова можно было только угадать по движениям бледных мягких губ. “Вам удобно?” – нервно спросил Мартын, поджав колени, чтобы ей не мешать, а потом опять наклонился вперед и, взяв с кресла рядом халат, прикрыл ее босые ноги. “Дайте мне папиросу”, – попросила она погодя. Мартын дал. От Сони шло нежное тепло, и вокруг прелестной голой шеи была тонкая цепочка. Она затянулась и, щурясь, выпустила дым и отдала папиросу Мартыну. “Крепкая”, – сказала она с грустью. “Что вы делали летом?” – спросил Мартын, стараясь побороть что-то глухое, сумасшедшее, совершенно невозможное, от которого даже знобило. “Так. Ничего. Были в Брайтоне”. Она вздохнула и добавила: “Летала на гидроплане”. “А я чуть не погиб, – сказал Мартын. – Да-да, чуть не погиб. Высоко в горах. Сорвался со скалы. Едва спасся”. Соня смутно улыбнулась. “Знаете, Мартын, она всегда говорила, что самое главное в жизни – это исполнять свой долг и ни о чем прочем не думать. Это очень глубокая мысль, правда?” “Да, может быть, – ответил Мартын, неверной рукой суя недокуренную папиросу в пепельницу. – Может быть. Но ведь иногда это скучновато”. “Ах, нет же, нет, – не просто дело, не работу или там службу, а такое, ну такое, – внутреннее”. Она замолчала, и Мартын заметил, что она дрожит в легонькой своей пижаме. “Холод-

но?” – спросил он. “Да, кажется холодно. И вот, это нужно исполнять, а у меня, например, ничего нет”. “Соня, – сказал Мартын, – может быть, вы..?” Он слегка отвернул одеяло, и она встала на коленки и медленно подвинулась к нему. “И мне кажется, – продолжала она, вползая под одеяло, которое он, ничего не слыша из того, что она говорит, неловко натянул на нее и на себя. – Мне вот кажется, что многие люди этого не знают, и от этого происходит...” Мартын глубоко вздохнул и обнял ее, прильнув губами к ее щеке. Соня схватила его за кисть, приподнялась и мгновенно выкатилась из постели. “Боже мой, – сказала она, – Боже мой!” И ее темные глаза заблестели слезами, и в одно мгновение все лицо стало мокро, длинные светлые полосы поползли по щекам. “Ну, что вы, не надо, я просто, ну, я не знаю, ах, Соня”, – бормотал Мартын, не смея ее тронуть и теряясь от мысли, что она может вдруг закричать и поднять на ноги весь дом. “Как вы не понимаете, – сказала она протяжно, – как вы не понимаете... Ведь я же вот так приходила к Нелли, и мы говорили, говорили до света...” Она повернулась и, плача, вышла из комнаты. Мартын, сидя в спутанных простынях, беспомощно ухмылялся. Она прикрыла за собой дверь, но снова ее отворила, просунула голову. “Дурак”, – сказала она совершенно спокойно и деловито, – после чего засеменила прочь по коридору.

Мартын некоторое время глядел на белую дверь. Когда он потушил свет и попробовал уснуть, последнее оказалось как будто невозможно. Он стал размышлять о том, что, как только забрезжит утро, нужно будет одеться, сложить вещи и тихо уйти из дому прямо на вокзал, – к сожалению, он на этих мыслях и уснул, – а проснулся в четверть десятого. “Может быть, это все было сон?” – сказал он про себя с некоторой надеждой, но тут же покачал головой и, в приливе мучительного стыда, подумал, как это он теперь встретится с Соней. Утро выдалось неудачное: он опять некстати влетел в ванную комнату, где Зиланов, широко расставив короткие ноги в черных штанах, наклонив корпус в плотной фланелевой фуфайке, мыл над раковиной лицо, до скрипа растирал щеки и лоб, фыркал под бьющей струей, прижимал пальцем то одну ноздрю, то другую, яростно высмаркиваясь и плюясь. “Пожалуйста, пожалуйста, я кончил”, – сказал он и, ослепленный водой, роняя брызги, как крылышки держа руки, понесся к себе в комнату, где предпочитал хранить полотенце.

Затем, спускаясь вниз, в столовую, пить цикуту, Мартын встретился с Ольгой Павловной: лицо у нее было ужасное, лиловатое, все распухшее, – и он страшно смутился, не смея ей сказать готовых слов соболезнования, а других не зная. Она обняла его, почему-то поцеловала в лоб, – и, безнадежно махнув рукой, удалилась, и там, в глубине коридора, муж ей что-то сказал о каких-то бумагах, с совершенно неожиданной надтреснутой нежностью в голосе, на которую он казался вовсе неспособен. Соню же Мартын встретил в столовой, – и первое, что она ему сказала, было: “Я вас прощаю, потому что все швейцарцы кретины, – кретин – швейцарское слово, – запишите это”. Мартын собирался ей объяснить, что он ничего не хотел дурного, – и это было в общем правдой, – хотел только лежать с ней рядом и целовать ее в щеку, – но Соня выглядела такой сердитой и унылой в своем черном платье, что он почел за лучшее смолчать. “Папа сегодня уезжает в Бриндизи, – слава Богу, дали, наконец, визу, – проговорила она, недоброжелательно глядя на плохо сдержанную жадность, с которой Мартын, всегда как волк голодный по утрам, пожирал глазунью. Мартын подумал, что нечего тут засиживаться, день будет все равно нелепый, проводы и так далее. “Звонил Дарвин”, – сказала Соня.

ГЛАВА XXIV

Дарвин явился с комедийной точностью, – сразу после этих слов, будто ждал за кулисами. Лицо у него было, от морского солнца, как ростбиф, и одет он был в замечательный, бледный костюм. Соня поздоровалась с ним – слишком томно, как показалось Мартыну. Мартын же был схвачен, огрет по плечу, по бокам и несколько раз спрошен, почему он не позвонил. Вообще говоря, обычно ленивый Дарвин проявил в этот день какую-то невиданную энергию, на вокзале взял у носильщика чужой сундук и понес на затылке, а в пульманском вагоне, на полпути между Ливерпуль-стрит и Кембриджем, посмотрел на часы, подозвал кондуктора, подал ему ассигнацию и торжественно потянул рукоятку тормоза. Поезд

застонал от боли и остановился, а Дарвин, с довольной улыбкой, всем объяснил, что ровно двадцать четыре года тому назад он появился на свет. Через день в одной из газет побойчее была об этом заметка под жирным заголовком: “Молодой автор в день своего рождения останавливает поезд”; сам же Дарвин сидел у своего университетского наставника и гипнотизировал его подробным рассказом о торговле пиявками, о том, как их разводят, и какие сорта лучше.

Та же была стужа в спальне, те же переключки курантов, и тот же вваливался Вадим, с тою же на устах рифмованной азбукой, построенной на двуступищах, каждое из коих начиналось веским утверждением “Японцы любят харакири” или: “Филипп Испанский был пройдоха”, – а кончалось строкой на ту же букву, не менее дидактической, но гораздо более непристойной. А вот Арчибальд Мун был как будто и тот же и другой: Мартын никак не мог восстановить прежнее очарование. Мун при встрече сказал, что выработал за лето новых шестнадцать страниц своей Истории России, целых шестнадцать страниц, потому так много, объяснил он, что весь долгий летний день уходил на работу, – и при этом он сделал пальцами движение, обозначающее перелив и пластичность каждой, им выношенной фразы, и в этом движении Мартыну показалось что-то крайне развратное, а слушать густую речь Муна было, как жевать толстый, тягучий рахат-лукум, запудренный сахаром. И впервые Мартын почувствовал нечто, для себя оскорбительное, в том, что Мун относится к России, как к мертвому предмету роскоши. Когда он в этом сознался Дарвину, тот с улыбкой кивнул и сказал, что Мун таков оттого, что предан уранизму. Мартын стал внимательнее, – и, после того, как однажды Мун, ни с того, ни с сего, дрожащими пальцами погладил его по волосам, он перестал его посещать и тихо спускался через окно по трубе в переулок, когда одинокий, томящийся Мун стучался в дверь его комнаты. На лекции Муна он все же продолжал ходить, но, изучая отечественных писателей, старался вытравить из слуха интонации Муна, которые преследовали его, особенно в ритме стихов. И Муну он стал предпочитать другого профессора, – Стивенса, благообразного старика, который преподавал Россию честно, тяжело, обстоятельно, а говорил по-русски с задыхающимся лаем, часто вставляя сербские и польские слова. Все же не так скоро Мартыну удалось окончательно отряхнуть Арчибальда Муна. Порою он невольно любовался мастерством его лекций, но тотчас же, почти воочию, видел, как Мун уносит к себе саркофаг с мумией России. В конце концов Мартын от него совсем отделался, взяв кое-что, но претворив это в собственность, и уже в полной чистоте зазвучали русские музы. А Муна иногда видели на улице в сопровождении прекрасного пухлявого юноши, с зачесанными назад бледными, пышными волосами, который играл женщин в шекспировских спектаклях, при чем Мун сидел в первом ряду, весь разомлевший, а потом шикал с другими на Дарвина, который, откинувшись в кресле, притворялся, что не в силах сдержать восторг, и неуместно разражался канонадой рукоплесканий.

Но и с Дарвином были у Мартына свои счеты. Дарвин иногда один отлучался в Лондон, и Мартын, в воскресную ночь, до трех часов утра, до полного оскудения кокса, сидел у камина, из которого дуло, как из могилы, и настойчиво, яростно, словно нажимая на больной зуб, представлял себе Соню и Дарвина вдвоем в темном автомобиле. Однажды он не выдержал и покатил в Лондон на вечер, на который не был зван, и ходил по залам, полагая, что выглядит очень бледным и строгим, но вдруг нехотая уловил в зеркале свое круглое розовое лицо с шишкой на лбу, напомнившей ему, как он накануне вырывал футбольный мяч из-под мчавшихся ног. И вот – явились: Соня одетая цыганкой, и как будто забывшая, что едва четыре месяца минуло со смерти сестры, и Дарвин, одетый англичанином из континентальных романов, – костюм в крупную клетку, тропический шлем с платком сзади для защиты затылка от солнца Помпей, бэдекер⁵ подмышкой и ярко-рыжие баки. Была музыка, был серпантин, была метель конфетти, и на одно упоительное мгновение Мартын почувствовал себя участником тонкой маскарадной драмы. Музыка прекратилась, – и когда, не смотря на явное желание Дарвина остаться с Соней наедине, Мартын влез в тот же таксомотор, он заметил вдруг в темноте автомобиля, прорезанной случайным отблеском, что Дарвин

⁵ Путеводитель; справочное издание для путешественников с описанием местности, маршрутов, достопримечательностей и т. п.

как будто держит Сонину руку в своей, и мучительно принялся себя уверять, что это просто игра света и тени. И невероятно было тяжело, когда Соня приезжала в Кембридж: Мартыну все казалось, что он лишний, что хотят от него отделаться. И потом было опять лето в Швейцарии, отмеченное победой над одним из лучших швейцарских теннисистов, – но что было Соне до его успехов в боксе, теннисе, футболе, – и иногда Мартын представлял себе в живописной мечте, как возвращается к Соне после боев в Крыму, и вот с громом проскакивало слово: кавалерия... – марш-марш, – и свист ветра, комочки черной грязи в лицо, атака, атака, – така-так подков, анапест полного карьера. Но теперь было поздно, бои в Крыму давно кончились, давно прошло время, когда Неллин муж летел на вражеский пулемет, близился, близился и вдруг ненароком проскочил за черту, в еще звеневшую отзвуком земной жизни область, где нет ни пулеметов, ни конных атак. “Спихватился, нечего сказать”, – мрачно журил себя Мартын и вновь, и вновь, с нестерпимым сознанием чего-то упущенного, воображал георгиевскую ленточку, легкую рану в левое плечо, – непременно в левое, – и Соню, встречающую его на вокзале Виктории. Его раздражала нежная улыбка матери при словах, которыми она как-то обмолвилась: “Видишь, это было все зря, зря, и ты бы зря погиб. Неллин муж – другое дело, – настоящий боевой офицер, – такие не могут жить без войны, – и умер он, как хотел умереть, – а эти мальчишки, которых так и косит...” Иностранцам, впрочем, она с жаром говорила о необходимости продления военной борьбы, – особенно теперь, когда все прекратилось, и уже не было ничего такого, что могло бы сына залучить. И когда она, несколько лет спустя, вспомнила это свое облегчение и спокойствие, Софья Дмитриевна вслух застонала, – ведь можно же было уберечь его, не отказаться так просто от верных предчувствий, быть наблюдательной, быть всегда на чеку, – и кто знает, быть может, лучше б было, если б он и впрямь пошел воевать, – ну, был бы ранен, ну, заболел бы тифом, и хотя бы этой ценой раз навсегда отделался от мальчишеской тяги к опасности, – но зачем такие мысли, зачем предаваться унынию? Больше бодрости, больше веры, – пропадают же люди без вести и все-таки возвращаются, – ходит, например, слух, что схватили на границе и расстреляли, как шпиона, – а глядь – человек жив, и вот уже посмеивается и басит в прихожей, – и если Генрих опять...

ГЛАВА XXV

В то второе каникулярное лето не одна только эта мимолетная довольная улыбка матери вызвала у Мартына досаду, – гораздо неприятнее было кое-что другое. Он заметил во всем странную перемену, точно все кругом таит дыхание, передвигается на цыпочках. Дядя Генрих почему-то теперь звал Софью Дмитриевну не Софи, как прежде, а *chère amie*, и она тоже говорила ему иногда “мой друг”. В нем появилась новая мягкость, разнеженность, голос стал тише, движения – осторожнее, и теперь уже достаточно было похвалить суп или жаркое, чтобы увлажнились его глаза. Культ памяти Мартынова отца приобрел оттенок нестерпимой мистики, – Софья Дмитриевна глубже, чем когда-либо, чувствовала свою вину перед покойным, а дядя Генрих как будто намечал для нее трудный, но верный путь искупления, говорил о том, как счастлив Сержев дух видеть ее в доме у кузена, и однажды даже вынул пилочку и начал с приятной грустью шмыгать ею по ногтям, – но тут Софья Дмитриевна не выдержала и глухо засмеялась, и совершенно неожиданно смех перешел в истерический припадок, и Мартын второпях так сильно пустил струю из крана на кухне, что облил себе белые штаны.

Нередко ему приходилось видеть, как мать, устало опираясь на руку Генриха, гуляет по саду, или как она приносит Генриху на ночь пахучего липового чайку для прояснения желудка, – и все это было тягостно, неловко, странно. Перед его отъездом в Кембридж, Софья Дмитриевна по-видимому захотела что-то ему сообщить, и но ей было так же неловко, как и ему, она смешалась и всего только и сказала, что может быть скоро напишет ему о важном событии, и действительно, Мартын зимой получил письмо, но не от нее, а от дяди, который на шести страницах, плавным почерком, в душещипательных и выпренных выражениях, уведомлял его, что венчается с Софьей Дмитриевной, – очень скромно, в сельской церкви, – и только дойдя до постскриптума, Мартын понял, что свадьба уже состоялась и

мысленно поблагодарил мать за то, что она приурочила к его отсутствию тяжкое это торжество. Вместе с тем он спрашивал себя, как же теперь с нею встретится, о чем будет говорить, удастся ли ему простить ей измену. Ибо, как ни верти, это была несомненно измена по отношению к памяти отца, – а тут еще угнетала мысль, что отчимом является пухлоусый и недалекий дядя Генрих, и, когда Мартын на Рождество приехал, мать принялась его обнимать и плакать, словно забыв, в угоду Генриху, обычную сдержанность, и просто некуда было деваться от торжественного покашливания отчима и его добрых растроганных глаз.

Вообще, в этот последний университетский год Мартын то и дело чуял кознодейство неких сил, упорно старающихся ему доказать, что жизнь вовсе не такая легкая, счастливая штука, какой он ее мнит. Существование Сони, постоянное внимание, которого оно вчуже требовало от его души, мучительные ее приезды, издевательский тон, который у них завелся, – все это было крайне изнурительно. Несчастливая любовь однако не мешала ему волочиться за всякой миловидной женщиной и холодеть от счастья, когда, например, Роза, богиня кондитерской, соглашалась на поездку вдвоем в автомобиле. В этой кондитерской, очень привлекавшей студентов, пирожные были всех цветов, ярко-красные в пупырьках крема, будто мухоморы, лиловые, как фиалковое мыло, и глянцевиито-черные, негритянские, с белой душой. Наживались ими до отвала, так как все хотелось добраться до чего-нибудь вкусного, поглощался один сорт за другим, пока не слипались кишки. Роза, смугло-румяная, с бархатными щеками и влажным взором, в черном платье и субреточном передничке, чрезвычайно быстро ходила по залу, ловко разминаясь с несущейся ей навстречу другой прислужницей. Мартын сразу обратил внимание на ее толстопалую, красную руку, которую нисколько не украшала яркая звездочка дешевого перстня, и мудро решил на ее руки больше никогда не глядеть, а сосредоточиться на длинных ресницах, которые она так хорошо опускала, когда записывала счет. Как-то, попивая жирный, сладкий шоколад, он передал ей cedulku и встретился с ней вечером под дождем, а в субботу нанял потрепанный лимузин и провел с нею ночь в старинной харчевне, верстах в пятидесяти от Кембриджа. Его несколько потрясло, но и польстило ему, что, по ее словам, это первый ее роман, – ее любовь оказалась бурной, неловкой, деревенской, и Мартын, представлявший ее себе легкомысленной и опытной сиреной, был так озадачен, что обратился за советом к Дарвину. “Вышибут из университета”, – спокойно сказал Дарвин. “Глупости”, – возразил Мартын, сдвинув брови. Когда же, недели через три, Роза, ставя перед ним чашку шоколада, сообщила ему быстрым шепотом, что беременна, он почувствовал, словно тот метеорит, который обыкновенно падает в пустыню Гоби, прямо угодил в него.

“Поздравляю”, – сказал Дарвин; после чего очень искусно принялся ему рисовать судьбу грешницы с брюхом. “А тебя тоже вышибут, – добавил он. – Это факт”. “Никто не узнает, я все улажу”, – растерянно проговорил Мартын. “Безнадежно”, – ответил Дарвин. Мартын вдруг рассердился и вышел, хлопнув дверью. Выбежав в переулок, он едва не грохнулся, так как Дарвин очень удачно пустил ему в голову из окна большой подушкой, а дойдя до угла и обернувшись, он увидел, как Дарвин с трубкой в зубах вышел, поднял, отряхнул подушку и вернулся в дом. “Жестокий скот”, – пробормотал Мартын и направился прямо в кондитерскую. Там было полно. Роза, смугло-румяная, с блестящими глазами, мелькала между столиками, семенила с подносом или, нежно слюня карандашик, писала счет. Он тоже написал кое-что на листке из блокнота, а именно: “Прошу вас выйти за меня замуж. Мартын Эдельвейс”, – и листок сунул ей в ужасную руку; затем вышел, с час ходил по улицам, вернулся домой, лег на кушетку и так пролежал до вечера.

ГЛАВА XXVI

Вечером к нему вошел Дарвин, великолепно скинул плащ и, подсев к камину, сразу начал кочергой подбадривать угольки. Мартын лежал и молчал, полный жалости к себе, и воображал вновь и вновь, как он с Розой выходит из церкви, и она – в белых лайковых перчатках, с трудом налезших. “Соня приезжает завтра одна, – беззаботно сказал Дарвин. – У ее матери инфлуэнца, сильная инфлуэнца”. Мартын промолчал, но с мгновенным волнением подумал о завтрашнем футбольном состязании. “Но как ты будешь играть, – сказал Дарвин,

словно в ответ на его мысли, – это, конечно, вопрос”. Мартын продолжал молчать. “Вероятно плохо, – заговорил снова Дарвин. – Требуется присутствие духа, а ты – в адском состоянии. Я, знаешь, только что побеседовал с этой женщиной”.

Тишина. Над городом заиграли башенные куранты.

“Поэтическая натура, склонная к фантазии, – спустя минуту, продолжал Дарвин. – Она столь же беременна, как, например, я. Хочешь держать со мною пари ровно на пять фунтов, что скручу кочергу в вензель?” – (Мартын лежал, как мертвый) – “Твое молчание, – сказал Дарвин, – я принимаю за согласие. Посмотрим”.

Он покряхтел, покряхтел... “Нет, сегодня не могу. Деньги твои. Я заплатил как раз пять фунтов за твою дурацкую записку. Мы – квиты, – все в порядке.”

Мартын молчал, только сильно забилося сердце.

“Но если, – сказал Дарвин, – ты когда-нибудь пойдешь опять в эту скверную и дорогую кондитерскую, то знай: ты из университета вылетишь. Эта особа может зачать от простого рукопожатия, – помни это”.

Дарвин встал и потянулся. “Ты не очень разговорчив, друг мой. Признаюсь, ты и эта гетера мне как-то испортили завтрашний день”.

Он вышел, тихо закрыв за собою дверь, и Мартын подумал зараз три вещи: что страшно голоден, что такого второго друга не сыскать, и что этот друг будет завтра делать предложение. В эту минуту он радостно и горячо желал, чтобы Соня согласилась, но эта минута прошла, и уже на другое утро, при встрече с Соней на вокзале, он почувствовал знакомую, унылую ревность (единственным, довольно жалким преимуществом перед Дарвином был недавний, вином запитый переход с Соней на ты; в Англии второе лицо, вместе с луконосцами, вымерло; все же Дарвин выпил тоже на брудершафт и весь вечер обращался к ней на архаическом наречии).

“Здравствуй, цветок”, – небрежно сказала она Мартыну, намекая на его ботаническую фамилию, и сразу, отвернувшись, стала рассказывать Дарвину о вещах, которые могли бы также быть и Мартыну интересны.

“Да что же в ней привлекательного? – в тысячный раз думал он. – Ну, ямочки, ну, бледность... Этого мало. И глаза у нее неважные, дикарские, и зубы неправильные. И губы какие-то быстрые, мокрые, вот бы их остановить, залепить поцелуем. И она думает, что похожа на англичанку в этом синем костюме и бескаблучных башмаках. Да она же, господа, совсем низенькая!” Кто были эти “господа”, Мартын не знал; выносить свой суд было бы им мудро, ибо, как только Мартын доводил себя до равнодушия к Соне, он вдруг замечал, какая у нее изящная спина, как она повернула голову, и ее раскосые глаза скользили по нему быстрым холодком, и в ее торопливом говоре проходил подземной струей смех, увлажняя снизу слова, и вдруг проворно вырывался наружу, и она подчеркивала значение слов, тряся туго спеленутым зонтиком, который держала не за ручку, а за шелковое утолщение. И уныло плетясь, – то следом за ними, то сбоку, по мостовой (идти по панели рядом было невозможно из-за упругого воздуха, окружавшего дородство Дарвина, и мелкого, неверного, всегда виляющего Сониного шага), – Мартын размышлял о том, что, если сложить все те случайные часы, которые он с ней провел – здесь и в Лондоне, – вышло бы не больше полутора месяцев постоянного общения, а знаком он с нею, слава Богу, уже два года с лишком, – и вот уже третья – последняя – кембриджская зима на исходе, и он право не может сказать, что она за человек, и любит ли она Дарвина, и что она подумала бы, расскажи ей Дарвин вчерашнюю историю, и сказала ли она кому-нибудь про ту беспокойную, чем-то теперь восхитительную, уже совсем нестыдную ночь, когда ее, дрожащую, босую, в желтенькой пижаме, вынесла волна тишины и бережно положила к нему на одеяло.

Пришли. Соня вымыла руки у Дарвина в спальне и, подув на пуховку, напудрилась. Столь к завтраку был накрыт на пятерых. Пригласили, конечно, Вадима, но Арчибальд Мун давно выбыл из круга друзей, и было даже как то странно вспоминать, то он почитался некогда желанным гостем. Пятым был некрасивый, но очень легко построенный и чуть эксцентрично одетый блондин, с носом пуговкой и с теми прекрасными, удлиненными руками, которыми иной романист наделяет людей артистических. Он однако не был ни поэтом, ни художником, а все то легкое, тонкое, порхающее, что привлекало в нем, равно как и его знание французского и итальянского и несколько не английские, но очень нарядные манеры,

Кембридж объяснял тем, что его отец был флорентийского происхождения. Тэдди, добрейший, легчайший Тэдди, исповедывал католицизм, любил Альпы и лыжи, прекрасно греб, играл в настоящий, старинный теннис, в который игравали короли, и, хотя умел очень нежно обходиться с дамами, был до смешного чист и только гораздо позже прислал как-то Мартыну письмо из Парижа с таким извещением: “Я вчера завел себе девку. Вполне чисто-плотную”, – и, сквозь нарочитую грубость, было что-то грустное и нервное в этой строке, – Мартын вспомнил его неожиданные припадки меланхолии и самобичевания, его любовь к Леопарди и снегу, и то, как он со злобой разбил ни в чем неповинную этрусскую вазу, когда с недостаточным блеском выдержал экзамен.

“Приятно зреть, когда большой медведь ведет подручку...”

И Соня dokonчила за Вадима, который уже давно ее не стеснялся: “...маленькую сучку”, – а Тэдди, склонив голову на бок, спросил, что такое: “Маэкасючику”, – и все смеялись, и никто не хотел ему объяснить, и он так и обращался к Соне: “Можно вам положить еще горошку, маэкасючику?” Когда же Мартын впоследствии объяснил ему, что это значит, он со стоном схватился за виски и рухнул в кресло.

“Ты волнуешься, волнуешься?” – спросил Вадим.

“Ерунда, – ответил Мартын. – Но я нынче дурно спал и пожалуй буду мазать. У них есть трое с интернациональным стажем, а у нас только двое таких”.

“Ненавижу футбол”, – сказал с чувством Тэдди. Дарвин его поддержал. Оба были итонцы, а в Итоне своя особая игра в мяч, заменяющая футбол.

ГЛАВА XXVII

Меж тем Мартын действительно волновался, и немало. Он играл голкипером в первой команде своего колледжа, и, после многих схваток, колледж вышел в финал и сегодня встречался с колледжем святого Иоанна на первенство Кембриджа. Мартын гордился тем, что он, иностранец, попал в такую команду и, за блестящую игру, произведен в звание колледжского “голубого”, – может носить, вместо пиджака, чудесную голубую куртку. С приятным удивлением он вспоминал, как, бывало, в России, калачиком свернувшись в мягкой выемке ночи, предаваясь мечтанию, уведившему незаметно в сон, он видел себя изумительным футболистом. Стоило прикрыть глаза и вообразить футбольное поле, или, скажем, длинные, коричневые, гармониками соединенные вагоны экспресса, которым он сам управляет, и постепенно душа улавливала ритм, блаженно успокаивалась, как бы очищалась и, гладкая, умощенная, соскальзывала в забытие. Был это иногда не поезд, пущенный во всю, скользящий между ярко-желтых березовых лесов и далее, через иностранные города, по мостам над улицами, и затем на юг, сквозь внезапно светающие туннели, и пологим берегом вдоль ослепительного моря, – это был иногда самолет, гоночный автомобиль, тобоган⁶, в вихре снега берущий крутой поворот, или просто тропинка, по которой бежишь, бежишь, – и Мартын, вспоминая, подмечал некую особенность своей жизни: свойство мечты незаметно оседать и переходить в действительность, как прежде она переходила в сон: это ему казалось залогом того, что и нынешние его ночные мечты, – о тайной, незаконной экспедиции, – вдруг окрепнут, наполнятся жизнью, как окрепла и оделась плотью греза о футбольных состязаниях, которой он бывало так длительно, так искусно наслаждался, когда, боясь дойти слишком поспешно до сладостной сути, останавливался подробно на приготовлениях к игре: вот натягивает чулки с цветными отворотами, вот надевает черные трусики, вот завязывает шнурки крепких бутсов.

Он крякнул и разогнулся. Перед камином было тепло переодеваться, – это чуть сбавляло дрожь волнения. На белый, с треугольным вырезом, свитер тесно налезла голубая куртка. Как уже потрепались голкиперские перчатки... Ну вот, – готов. Кругом валялись его вещи, он все это подобрал и понес в спальню. По сравнению с теплом шерстяного свитера, его голоколенным ногам в просторных, легких трусах было удивительно прохладно. “Уф! – произнес он, входя в комнату Дарвина. – Я, кажется, быстро переоделся”. “Пошли”, – сказа-

⁶ Открытый желоб, предназначенный для одиночного спуска

ла Соня и встала с дивана. Тэдди посмотрел на нее с мольбой. “Прошу тысячу раз прощения, – взмолился он, – меня ждут, меня ждут”.

Он ушел. Ушел и Вадим, обещав прикатить на поле попозже. “Может быть, это и действительно не так уже интересно, – сказала Соня, обращаясь к Дарвину. – Может быть, не стоит?” “О, нет, непременно”, – с улыбкой ответил Дарвин и потрепал Мартына по плечу. Они пошли втроем по улице, Мартын заметил, что Соня совершенно не смотрит на него, меж тем он впервые показывался ей в футбольном наряде. “Прибавим шагу, – сказал он. – Мы еще опоздаем”. “Не беда”, – проговорила Соня и стала перед витриной. “Ладно, я пойду вперед”, – сказал Мартын и, твердо стуча резиновыми шипами бутсов, свернул в переулок и зашагал по направлению к полю.

Народу навалило уйма, – благо и день выдался отличный, с бледно-голубым зимним небом и бодрым воздухом. Мартын прошел в павильон, и там уже все были в сборе, и Армстронг, капитан команды, долговязый человек с подстриженными усами, застенчиво улыбнувшись, в сотый раз заметил Мартыну, что тот напрасно не носит наколенников. Погодя все одиннадцать человек гуськом выбежали из павильона, и Мартын разом воспринял то, что так любил: острый запах сыроватого дерна, упругость его под ногами, тысячу людей на скамейках, черную проплешину в дерне у ворот и гулкий звук, – это покрикивала противная команда. Судья принес и положил на самый пуп поля (обведенный меловой чертой) новенький, светло-желтый мяч. Игроки встали по местам, раздался свисток. И вдруг волнение Мартына совершенно исчезло, и, спокойно прислонившись к штанге своих ворот, он поглядел по сторонам, пытаясь найти Дарвина и Соню. Игра повелась далеко, в том конце поля, и можно было наслаждаться холодом, матовой зеленью, говором людей, стоявших тотчас за сеткой ворот, и гордым чувством, что отроческая мечта сбылась, что вон тот рыжий, главарь противников, так восхитительно точно принимающий и передающий мяч, недавно играл против Шотландии, и что среди толпы есть кое-кто, для кого стоит постараться. В детские годы сон обычно наступал как раз в эти минуты начала игры, ибо Мартын так увлекался подробностями предисловия, что до главного не успевал дойти и забывался. Так он длил наслаждение, откладывая на другую, менее сонную, ночь самую игру, – быструю, яркую, – и вот, топот ног близится, вот уже слышно храпящее дыхание бегущих, вот выбился рыжий и несется, вздрагивая коком, и вот – от удара его баснословного носка мяч со свистом низко метнулся в уголок ворот, – голкипер, упав, как подкошенный, успел задержать эту молнию, и вот уже мяч в его руках, и, увильнув от противников, Мартын всей силою ляжки и икры послал мяч звучной параболой вдаль, под раскат рукоплесканий. Во время короткого перерыва игроки валялись на траве, сося лимоны, и, когда затем стороны переменились воротами, Мартын с нового места опять высматривал Соню. Впрочем, нельзя было особенно глазеть, – игра сразу пошла жаркая, и ему все время приходилось делать стойку в ожидании атаки. Несколько раз он ловил, согнувшись вдвое, пушечное ядро, несколько раз взлетал, отражая его кулаком, и сохранил девственность своих ворот до конца игры, счастливо улыбнувшись, когда, за секунду до свистка, голкипер противников выронил скользкий мяч, который Армстронг тотчас и залепил в ворота.

Все кончилось, публика затопила поле, никак нельзя было найти Соню и Дарвина. Уже за трибунами он нагнал Вадима, который, в тесноте пешеходов, тихо ехал на велосипеде, осторожно повилявая и дудя губами. “Давно драпу дали, – ответил он на вопрос Мартына, – сразу после хафтайма, и, знаешь, у мамы – “ – тут следовало что-то смешное, чего, впрочем, Мартын не дослушал, так как, густо тарахтя, протиснулся один из игроков, Фильпот, на красной мотоциклетке и предложил его подвезти. Мартын сел сзади, и Фильпот нажал акселератор. “Вот я и напрасно удержал тот, последний, под самую перекладину, – она все равно не видела”, – думал Мартын, морщась от пестрого ветра. Ему сделалось тяжело и горько, и, когда он на перекрестке слез и направился к себе, он с отвращением прожевывал вчерашний день, коварство Розы, и стало еще обиднее. “Вероятно где-нибудь чай пьют”, – пробормотал он, но на всякий случай заглянул в комнату Дарвина. На кушетке лежала Соня, и в то мгновение, как Мартын вошел, она сделала быстрый жест, ловя в горсть пролетающую моль. “А Дарвин?” – спросил Мартын. “Жив, пошел за пирожными”, – ответила она, недоброжелательно следя глазами за непойманной, белесой точкой. “Вы напрасно не дождались конца, – проговорил Мартын и опустил в бездонное кресло. – Мы выиграли. Один на ноль”. “Тебе

хорошо бы вымыться, – заметила она. – Посмотри на свои колени. Ужас. И наследил чем-то черненьким”. “Ладно. Дай отсапать”. Он несколько раз глубоко вздохнул и, охая, встал. “Постой, – сказала Соня. – Это ты должен послушать, – просто уморительно. Он только что мне предложил руку и сердце. Вот я чувствовала, что это должно произойти: зрел, зрел и лопнул”. Она потянулась и темно взглянула на Мартына, который сидел высоко подняв брови. “Умное у тебя личико”, – сказала она и, отвернувшись, продолжала: “Просто не понимаю, на что он рассчитывал. Милейший и все такое, – но ведь это дуб, английский дуб, – я бы через неделю померла бы с тоски. Вот она опять летает, голубушка”. Мартын прочистил горло и сказал: “Я тебе не верю. Я знаю, что ты согласилась”. “С ума сошел! – крикнула Соня, подскочив на месте и хлопнув обеими ладонями по кушетке. – Ну как ты себе можешь это представить?” “Дарвин – умный, тонкий, – вовсе не дуб”, – напряженно сказал Мартын. Она опять хлопнула. “Но ведь это не настоящий человек, – как ты не понимаешь, балда! Ну, право же, это даже оскорбительно. Он не человек, а нарочно. Никакого нутра и масса юмора, – и это очень хорошо для бала, – но так, надолго, – от юмора на стенку полезешь”. “Он писатель, от него знатоки без ума”, – тихо, с трудом, проговорил Мартын и подумал, что теперь его долг исполнен, довольно ее уговаривать, есть предел и благородству. “Да-да, вот именно, – только для знатоков. Очень мило, очень хорошо, но все так поверхностно, так благополучно, так...” Тут Мартын почувствовал, как, прорвав шлюзы, хлынула сияющая волна, он вспомнил, как превосходно играл только что, вспомнил, что с Розой все улажено, что вечером банкет в клубе, что он здоров, силен, что завтра, послезавтра и еще много, много дней – жизнь, битком набитая всяким счастьем, и все это налетело сразу, закружило его, и он, рассмеявшись, схватил Соню в охапку, вместе с подушкой, за которую она уцепилась, и стал ее целовать в мокрые зубы, в глаза, в холодный нос, и она брыкалась, и ее черные, пахнущие фиалкой, волосы лезли ему в рот, и, наконец, он уронил ее с громким смехом на диван, и дверь открылась, показалась сперва нога, нагруженный свертками вошел Дарвин, попытался ногой же дверь закрыть, но уронил бумажный мешок, из которого высыпались меренги. “Мартын швыряется подушками, – жалобным, запыхавшимся голосом сказала Соня. – Подумаешь, – один: ноль, – нечего уж так беситься”.

ГЛАВА XXVIII

А на другой день и у Мартына и у Дарвина было с утра тридцать восемь подмышечной температуры, – ломота, сухость в горле, звон в ушах, – все признаки сильнейшей инфлуэнцы. И, как ни было приятно думать, что передаточной инстанцией послужила вероятно Соня, – оба чувствовали себя отвратительно, и Дарвин, который ни за что не хотел оставаться в постели, выглядел в своем цветистом халате тяжеловесом-боксером, красным и встрепанным после долгого боя, и Вадим, героически презирая заразу, носил лекарства, а Мартын, накрывшись поверх одеяла пледом и зимним пальто, мало, впрочем, сбавляющими озноб, лежал в постели с сердитым выражением на лице и во всяком узоре, во всяком соотношении между любыми предметами в комнате, тенями, пятнами, видел человеческий профиль, – тут были кувшинные рыла, и бурбонские носы, и толстогубые негры, – неизвестно почему лихорадка всегда так усердно занимается рисованием довольно плоских карикатур. Он засыпал, – и сразу танцевал фокстрот со скелетом, который во время танца начинал развинчиваться, терять кости, их следовало подхватить, попридержать, хотя бы до конца танца; а не то – начинался безобразный экзамен, вовсе непохожий на тот, который, спустя несколько месяцев, в мае, действительно пришлось Мартыну держать. Там, во сне, предлагались чудовищные задачи с большими железными иксами, завернутыми в вату, а тут, на яву, в просторном зале, косо пересеченном пыльным лучом, студенты-филологи в черных плащах отмахивали по три сочинения в час, и Мартын, посматривая на стенные часы, крупным, круглым своим почерком писал об опричниках, о Баратынском, о петровских реформах, о Лорис-Меликове...

Кембриджское житье подходило к концу, и каким то сияющим апофеозом показались последние дни, когда, в ожидании результатов экзаменов, можно было с утра до вечера валандаться, греться на солнце, томно плыть, лежа на подушках, вниз по реке, под величавым

покровительством розовых каштанов. Весной Соня с семьей переселилась в Берлин, где Зиланов затеял еженедельную газету, и теперь Мартын, лежа навзничь под тихо проходившими ветвями, вспоминал последнюю свою поездку в Лондон. Дарвин поехать не пожелал, лениво попросил передать Соне привет и, помахав в воздухе пальцами, погрузился опять в книгу. Когда Мартын прибыл, в доме у Зилановых был тот печальный кавардак, который так ненавидят пожилые, домовитые собаки, толстые таксы, например. Горничная и вихрастый малый с папирской за ухом несли вниз по лестнице сундук. Заплаканная Ирина сидела в гостиной, кусая ногти и неизвестно о чем думая. В одной из спален разбили что-то стеклянное, и сразу в ответ зазвонил в кабинете телефон, но никто не подошел. В столовой покорно ждала тарелка, прикрытая другой, а что там была за пища – неизвестно. Откуда-то приехал Зиланов, в черном пальто несмотря на теплынь, и, как ни в чем не бывало, сел в кабинете писать. Ему, кочевнику, было, вероятно, совершенно все равно, что через час надобно ехать на вокзал, и что в углу торчит еще не заколоченный ящик с книгами, – так сидел он и ровно писал, на сквозняке, среди каких-то стружек и смятых газетных листов. Соня стояла посреди своей комнаты и, прижимая ладони к вискам, сердито переводила взгляд с большого пакета на уже вполне сытый чемодан. Мартын сидел на низком подоконнике и курил. Несколько раз входили то Ольга Павловна, то ее сестра, искали чего-то и, не найдя, уходили. “Ты рада ехать в Берлин?” – уныло спросил Мартын, глядя на свою папиросу, на пепельный нарост, схожий с седой хвоей, в которой сквозит зловещий закат. “Без. Раз. Лично”, – сказала Соня, прикидывая в уме, закроется ли чемодан. “Соня”, – сказал Мартын через минуту. “А? Что?” – очнувшись она и вдруг быстро завозилась, рассчитывая взять чемодан врасплох, натиском. “Соня, – сказал Мартын, – неужели...” Вошла Ольга Павловна, посмотрела в угол и, кому-то в коридоре отвечая отрицательно, торопливо ушла, не прикрыв двери. “Неужели, – сказал Мартын, – мы больше никогда не увидимся?” “Все под Богом ходим”, – ответила Соня рассеянно. “Соня”, – начал опять Мартын. Она посмотрела на него и не то поморщилась, не то улыбнулась. “Знаешь, он мне отослал все письма, все фотографии, – все. Комик. Мог бы эти письма оставить. Я их полчаса рвала и спускала, теперь там испорчено”. “Ты с ним поступила дурно, – хмуро проговорил Мартын. – Нельзя было подавать надежду и потом отказать”. “Что за тон, что за тон! – с легким взвизгом крикнула Соня. – На что надежду? Как ты смеешь говорить о надежде? Ведь это пошлость, мерзость. Ах, вообще – отстань от меня! Лучше-ка сядь на этот чемодан”, – добавила она нотой ниже. Мартын сел и напыжился. “Не закроется, – сказал он хрипло. – И я не знаю, почему ты приходишь в такой раж. Я просто хочу сказать” – Тут что-то неохотно щелкнуло, и, не дав чемодану опомниться, Соня повернула в замке ключик. “Теперь все хорошо, – сказала она. – Поди сюда, Мартын. Поговорим по душам”. В комнату заглянул Зиланов. “Где мама? – спросил он. – Я ведь просил оставить мой стол в покое. Теперь исчезла пепельница, там было две почтовых марки”. Когда он ушел, Мартын взял Сонину руку в свои, сжал ее между ладонями, тяжело вздохнул. “Ты все-таки очень хороший, – сказала Соня. – Мы будем переписываться, и ты может быть когда-нибудь приедешь в Берлин, а не то – в России встретимся, будет очень весело”. Мартын качал головой и чувствовал, как накапливаются слезы. Соня выдернула руку. “Ну, если хочешь кукситься, – сказала она недовольно, – пожалуйста, сколько угодно”. “Ах, Соня”, – проговорил он сокрушенно. “Да чего же ты от меня, собственно, хочешь? – спросила она шурясь. – Скажи мне, пожалуйста, чего ты от меня хочешь?” Мартын, отвернув голову, пожал плечами.

“Слушай, – сказала она – надо идти вниз, надо ехать, меня злит, что ты такой надутый. Неужели нельзя все просто?” “Ты в Берлине выйдешь замуж”, – безнадежно пробормотал Мартын. Влетела горничная, забрала чемодан. За ней появилась Ольга Павловна, уже в шляпе. “Пора, пора, – сказала она. – Ты все здесь взяла, ничего не оставила? Это ужас, – обратилась она к Мартыну, – мы думали спокойно завтра ехать...” Она исчезла, но ее голос в коридоре некоторое время еще объяснял кому-то о неотложных делах мужа, и Мартыну стало так пронзительно, так невыразимо грустно от всей этой кутерьмы, безалаберности, что захотелось скорее уж спровадить, сбить Соню и вернуться в Кембридж, к ленивому солнцу.

Соня улыбнулась, взяла его за щеки и поцеловала в переносицу. “Не знаю, может быть”, – прошептала она и, быстро вывернувшись из метнувшихся Мартыновых рук, подняла палец. “Тубо”, – сказала она, а потом сделала круглые глаза, так как снизу вдруг донеслись ужасные, невозможные, потрясавшие весь дом рыдания. “Пойдем, пойдем, – заторопи-

лась Соня. – Я не понимаю, почему этой бедняжке так не хочется отсюда уезжать. Перестань, черт возьми, оставь мою руку!” Внизу у лестницы билась, рыдая, Ирина, цеплялась за балюстраду. Елена Павловна тихо ее уговаривала, – “Ира, Ирочка”, – а Михаил Платонович, употребляя уже не раз испытанное средство, вынул платок, быстро сделал толстый узел с длинным ушком, надел платок на руку, и, вертя ею, показал человечка в ночной рубашке и колпаке, уютно укладывающегося спать.

На вокзале она расплакалась опять, но уже тише, безнадежнее. Мартын сунул ей коробку конфет, предназначенную, собственно говоря, Соне. Зиланов, как только уселся, развернул газету. Ольга и Елена Павловны считали глазами чемоданы. С грохотом стали захлопываться дверцы; поезд тронулся. Соня высунулась в окно, облокотясь на спущенную раму, и Мартын несколько мгновений шел рядом с вагоном, а потом отстал, и уже сильно уменьшившаяся Соня послала ему воздушный поцелуй, и Мартын споткнулся о какой-то ящик.

“Ну вот – уехали”, – сказал он со вздохом и почувствовал облегчение. Он перебрался на другой вокзал, купил свежий номер юмористического журнала с носастым, крутогорбым Петрушкой на обложке, а когда все было высосано из журнала, засмотрелся на нежные луга, проплывавшие мимо. “Моя прелесть, моя прелесть”, – произнес он несколько раз и, глядя сквозь горячую слезу на зелень, вообразил, как, после многих приключений, попадет в Берлин, явится к Соне, будет, как, Отелло, рассказывать, рассказывать... “Да, так дальше нельзя, – сказал он, пальцем потирая веко и напрягая надгубье, – нельзя, нельзя. Больше активности”. Прикрыв глаза, удобно вдвинувшись в угол, он принялся готовиться к опасной экспедиции, изучал карту, никто не знал, что он собирается сделать, знал, пожалуй, только Дарвин, прощай, прощай, ни пуха, ни пера, отходит поезд на север, – и на этих приготовлениях он заснул, как прежде засыпал, надевая в мечте футбольные доспехи. Было темно, когда он прибыл в Кембридж. Дарвин читал все ту же книгу и, как лев, зевнул, когда он к нему вошел. И тут Мартын поддался маленькому озорному соблазну, – за что впоследствии поплатился. Он с нарочитой задумчивой улыбкой уставился в угол, и Дарвин, неторопливо доканчивая зевок, посмотрел на него с любопытством. “Я счастливейший человек в мире, – тихо и проникновенно сказал Мартын. – Ах, если б можно было все рассказать”. Он, впрочем, не лгал: давеча в вагоне, когда он заснул, ему привиделся сон, выросший из двух-трех Сониных слов, – она прижимала его голову к своему гладкому плечу, наклонялась, щекоча губами, говорила что-то придушенно-тепло и нежно, и теперь было трудно отделить сон от яви. “Что ж, очень рад за тебя”, – сказал Дарвин. Мартыну вдруг сделалось неловко, и он, посвистывая, пошел спать. Через неделю он получил открытку с видом Бранденбургских ворот и долго разбирал паукообразный Сонин почерк, тщетно пытаясь найти скрытый смысл в незначительных словах.

И вот, плывя по реке под низкими цветущими ветвями, Мартын вспоминал, проверял, испытывал разными кислотами последнюю встречу с ней, – приятная, хотя не очень плодотворная работа. Было жарко, сквозь закрытые веки солнце проникало томным клубничным румянцем, слышен был сдержанный плеск воды и далекая нежная музыка плывущих граммофонов. Погодя Мартын открыл глаза и в потоке солнца увидел Дарвина, лежащего в подушках напротив, в таких же белых фланелевых штанах и открытой рубашке, как и он. На юте этой плотоподобной шлюпки с плоским, неглубоким днищем и тупым носом стоял Вадим и налегал на упорный шест. Потрескавшиеся бальные туфли сверкали от брызг, на остром лице было внимательное выражение, – он любил воду, он священнодействовал, искусно, плавно орудуя шестом, вынимая его из воды ритмическими перехватами и снова на него налегая. Шлюпка скользила между цветущих берегов; в прозрачно-зеленоватой воде отражались то каштаны, то млечные кусты ежевики; иногда падал лепесток, и было видно в воде, как из глубины спешит к нему навстречу отражение, и вот – сошлись. Мимо, лениво и безмолвно, если не считать воркотни граммофонов, проплывали такие же плоские шлюпки, а изредка байдарка или пирога со вздернутым носом. Мартын заметил впереди открытый цветной зонтик, который колесом вращался то вправо, то влево, но от женщины, тихо вращавшей его, ничего не было видно, кроме руки – почему-то в белой перчатке. На корме стоял молодой человек в очках и очень неумело действовал шестом, так что шлюпка виляла, и Вадим кипел презрением и не знал, с какой стороны ее перегнуть. На первой же излучине она неуклонно пошла на берег, при чем выпуклый зонтик обернулся в профиль, и Мартын

узнал Розу. “Посмотри, как забавно”, – сказал он, и Дарвин, не меняя положения толстых заломленных рук, посмотрел по направлению его взгляда. “Запрещаю с ней здороваться”, – сказал он спокойно. Мартын улыбнулся: “Нет-нет, непременно”. “Если ты это сделаешь, – протяжно проговорил Дарвин, – я отшибу тебе голову”. Было что-то странное в его глазах, и Мартыну сделалось не по себе; но именно потому, что он расслышал в словах Дарвина нешуточную угрозу и испугался ее, Мартын, проплывая мимо застрявшей в кустах шлюпки, крикнул: “Алло, алло, Роза!” И она молча улыбнулась, сияя глазами и вертя зонтиком, и молодой человек в очках уронил со шлепком шест в воду, и в следующее мгновение поворот их закрыл, и Мартын опять закинул голову и стал смотреть в небо. Через несколько минут молчаливого скольжения вдруг раздался голос Дарвина: “Здорово, Джон, – рывкнул он. – Подплывай сюда!”

Джон ослабился и затабил. Этот чернобровый, ежом остриженный толстяк был даровитым математиком и недавно получил за одну из своих работ стипендию. Он глубоко сидел в пироге, двигая вдоль самого борта блестящим гребком. “Вот что, Джон, – сказал Дарвин. – Тут меня вызвали на драку, так что будь свидетелем. Мы выберем место потише и пристанем”. “Ладно, – ответил Джон, не выказав никакого удивления, и, плывя рядом, стал длинно рассказывать о студенте, недавно купившем гидроплан и немедленно разбившем его при попытке подняться вот с этой узкой реки. Мартын лежал в подушках, не шевелясь. Знакомая дрожь и слабость в ногах. Быть может Дарвин все-таки шутит. С чего бы ему так взъерепениться?

Вадим, поглощенный навигаторским таинством, ничего по-видимому не слышал. После трех-четырех поворотов Дарвин попросил его пристать. Уже близился вечер. Река в этом месте была пустынна. Вадим направил шлюпку на зеленый мысок, выдававшийся из-под навеса листвы. Мягко стукнулись

ГЛАВА XXIX

Дарвин первый выскочил на берег и помог Вадиму причалиться. Мартын потянулся, не торопясь встал, вышел тоже. “Я вчера начал читать Чехова, – сказал ему Джон, шевеля бровями. – Очень благодарю вас за совет. Милый, человеческий писатель”. “О, еще бы”, – ответил Мартын и быстро подумал: “Неужто и впрямь будет драка?”

“Ну вот, – сказал Дарвин подойдя. – Теперь можно приступить; если пройти сквозь эти кусты, мы выйдем на поляну. С реки ничего не будет видно”.

Вадим только теперь понял, что затевается. “Мамка тебя убьет”, – сказал он по-русски Мартыну. “Пустяки, – ответил Мартын. – Я боксую не хуже его”. “Не надо бокса, – лихорадочно шепнул Вадим. – Дай ему сразу ногой”, – и он определил, куда именно. Стоял он за Мартына только из любви к отечеству.

Полянка, окруженная орешником, оказалась ровной, бархатной. Дарвин засучил рукава, но, подумавши, развернул их опять и снял рубашку: осветилось крупное розовое тело с мускулистым лоском на плечах и с дорожкой золотистых волос посередине широкой груди. Он крепче затянул ремень пояса и вдруг заулыбался. “Все это шутка”, – радостно подумал Мартын, но, на всякий случай, тоже обнажил торс: кожа у него была более кремового оттенка с многочисленными родинками, как часто бывает у русских. По сравнению с Дарвином он казался более поджарым, хотя был плотен и плечист. Он снял через голову крест, загреб в ладонь цепочку, и эту горсточку текучего золота сунул в карман. Вечернее солнце обдавало теплом лопатки.

“Вы как хотите, – с перерывами?” – спросил Джон, удобно растянувшись на траве. Дарвин вопросительно взглянул на Мартына, который стоял, сложив руки на груди и расставя ноги. “Мне все равно”, – заметил Мартын, а в мыслях пронеслось: “Нет, по-видимому драка будет, – это ужасно...” Кругом да около беспокойно слонялся Вадим, заложив руки в карманы, посапывал, смущенно ухмылялся, а потом сел по-турецки рядом с Джоном. Джон вынул часы. “Им все-таки не следует дать больше пяти минут, – правда, Вадим?” Вадим растерянно закивал. “Ну-с, можете начать”, – сказал Джон.

Дарвин и Мартын, мгновенно сжав кулаки, подняли согнутые в локтях руки (правая

заслоняет живот, левая ходит поршнем) и принялись упруго и живо переступать на напряженных ногах, словно потанцовывая. В эту минуту Мартыну еще казалось невозможным ударить Дарвина в лицо, в это большое, гладко выбритое, доброе лицо с мягкими морщинами у рта; но когда кулак Дарвина вдруг вылетел и Мартына треснул по челюсти, все изменилось: пропал страх, стало на душе хорошо, светло, а звон в голове от встряски пел о Соне, – настоящей виновнице поединка. Увильнувшись от нового выпада, он хватил Дарвина по его доброму лицу, во время нырнул (стремительная рука Дарвина метеором пронеслась над самым теменем) и хотел двинуть еще раз снизу вверх, но промахнулся и получил сам в глаз такой черный и звездный удар, что пошатнулся и уже не мог отклониться от пяти-шести кулаков, летавших вокруг его головы, но самый опасный из них ему все же удалось пропустить через плечо: нагнувшись, он обманул Дарвина проворным маневром и со всей силы хряпнул его по мокрому, твердому от зубов рту, – и тут же сам екнул, почувствовав, словно налетел животом на торчащий конец железного бруса. Оба отскочили друг от друга и пошли опять кружить, и у Дарвина из угла рта текла красная струйка, и он дважды сплюнул. Схватились снова. Джон, задумчиво покуривая трубку, мысленно противопоставлял опытность Дарвина быстроте Мартына и думал, что, пожалуй, в ринге он, выбирая между этими двумя тяжеловесами, отдал бы предпочтение старшему. У Мартына левый глаз закрылся и уже распух, и оба бойца были мокрые и лоснящиеся, в красноватых пятнах. Вадим меж тем разошелся, что-то азартно кричал, Джон на него шикал. Бабах в ухо: Мартын не удержался на ногах, и, пока он валился, Дарвин успел его еще раз хватить, и Мартын сильно сел на траву, ушибив копчик, но тотчас вспрянул и налетел. Несмотря на боль в голове, на глухоту, на багровый туман в глазах, Мартыну казалось, что он причиняет Дарвину больше увечий, чем тот ему, но Джон, знаток бокса, уже ясно видел, что Дарвин только входит во вкус, еще немножко, и младший будет уложен. Мартын, однако, чудом выдержал решительный напор Дарвина, состоявший из звучных заушин, кои зовутся раскатихами, и успел еще раз брякнуть его по рту, а случайно коснувшись своих белых штанов, оставил на них красный отпечаток. Он дышал с присвистом, мало уже соображал, и то, что было перед ним, называлось уже не Дарвин, – и вообще не носило человеческого имени, – а было только розовой, скользкой, быстроходной громадой, по которой следовало шмякать из последних сил. Ему удалось очень плотно и ладно ударить куда-то, – куда – он не видел, – но тотчас множество кулаков, справа, слева, куда ни сунься, продолжало его обрабатывать, он упрямо искал в этом вихре брешь, нашел, забарабанил по какой-то чмокающей мякине, почувствовал вдруг, что у самого отлетает голова, и, поскользнувшись, повис на Дарвине, зажимая сдвинутыми локтями его мокрые, горячие руки. “Время!” – донесся вдруг из отдаленных пространств голос Джона, и бойцы расцепились, Мартын рухнул на мураву, Дарвин, улыбаясь окровавленным ртом, присел рядом, нежно перекинул руку через его плечо, и оба замерли, склонив головы и тяжело дыша.

“Надо вам обмыться”, – сказал Джон, а Вадим, с опаской подходя, стал разглядывать их разбитые лица. “Ты можешь встать?” – с участием спросил Дарвин; Мартын кивнул и, опираясь на него, выпрямился, и они в обнимку направились к реке; Джон похлопал их по холодным голым спинам; Вадим пошел вперед, отыскал укромный затончик; Дарвин помог Мартыну хорошенько обмыть лицо и торс, а потом Мартын сделал для него тоже, – и оба тихо и участливо спрашивали друг у друга, где болит, не жжет ли вода.

ГЛАВА XXX

Сумерки уже переходили в ночь, щелкали соловьи, дымные луга и темный прибрежный кустарник дышал сыростью. Джон в своей черной пироге исчез в тумане реки. Вадим, опять стоя на юте, призрачно белеясь во мраке, безмолвно, с лунатической плавностью, погружал свой призрачный шест. Мартын и Дарвин лежали рядом на подушках, размаанные, томные, опухшие, и глядели тремя глазами на небо, по которому изредка проходила темная ветвь. И это небо, и ветвь, и едва плещущая вода, и фигура Вадима, таинственно облагороженного любовью к плаванию, и цветные огни бумажных фонарей на носах встречных шлюпок, и мысль, что на днях конец Кембриджу, что в последний раз, быть может, они

втроем скользят по узкой туманной реке, – все это для Мартына сливалось во что-то удивительное, очаровательное, а свинцовая боль в голове и ломота в плечах тоже казались ему возвышенного, романтического свойства: ибо так плыл раненый Тристан сам друг с арфой.

Еще одна последняя излучина, и вот – берег. Берег, к которому Мартын пристал, был очень хорош, ярок, разнообразен. Он знал, однако, что, например, дядя Генрих твердо уверен, что эти три года плавания по кембриджским водам пропали даром, оттого что Мартын побаловался филологической прогулкой, не Бог весть какой дальней, вместо того, чтобы изучить плодоносную профессию. Мартын же по совести не понимал, чем знаток русской словесности хуже инженера путей сообщения или купца. Оказалось, что в зверинце у дяди Генриха, – а зверинец есть у каждого, – имелся, между прочим, и тот зверек, который по-французски зовется “черным”, и этим черным зверьком был для дяди Генриха: двадцатый век. Мартына это удивило, ибо ему казалось, что лучшего времени, чем то, в которое он живет, прямо себе не представишь. Такого блеска, такой отваги, таких замыслов не было ни у одной эпохи. Все то, что искрилось в прежних веках, – страсть к исследованию неведомых земель, дерзкие опыты, подвиги любознательных людей, которые слепли или разлетались на мелкие части, героические заговоры, борьба одного против многих, – все это проявлялось теперь с небывалой силой. То, что человек, проигравший на бирже миллион, хладнокровно кончал с собой, столь же поражало воображение Мартына, как, скажем, вольная смерть полководца, павшего грудью на меч. Автомобильная реклама, ярко алеющая в диком и живописном ущелье, на совершенно недоступном месте альпийской скалы, восхищала его до слез. Услужливость, ласковость очень сложных и очень простых машин, как, например, трактор или линотип, приводили его к мысли, что добро в человечестве так заразительно, что передается металлу. Когда над городом, изумительно высоко в голубом небе, аэроплан величиной с комарика выпускал нежные, молочно-белые буквы во сто крат больше него самого, повторяя в божественных размерах росчерк фирмы, Мартын проникался ощущением чуда. А дядя Генрих, подкармливая своего черного зверька, с ужасом и отвращением говорил о закате Европы, о послевоенной усталости, о нашем слишком трезвом, слишком практическом веке, о нашествии мертвых машин; в его представлении была какая-то дьявольская связь между фокстротом, небоскребами, дамскими модами и коктейлями. Кроме того, дяде Генриху казалось, что он живет в эпоху страшной спешки, и было особенно смешно, когда он об этой спешке беседовал в летний день, на краю горной дороги, с аббатом, – меж тем, как тихо плыли облака, и старая, розовая аббатовая лошадь, со звоном отряхиваясь от мух, моргая белыми ресницами, опускала голову полным невыразимой прелести движением и сочно похрустывала придорожной травой, вздрагивая кожей и переставляя изредка копыто, и, если разговор о безумной спешке наших дней, о власти доллара, об аргентинцах, соблазнивших всех девушек в Швейцарии, слишком затягивался, а наиболее нежные стебли уже оказывались в данном месте съеденными, она слегка подвигалась вперед, при чем со скрипом поворачивались высокие колеса таратайки, и Мартын не мог оторвать взгляд от добрых седых лошадиных губ, от травинки, застрявшей в удилах. “Вот, например, этот юноша, – говорил дядя Генрих, указывая палкой на Мартына, – вот он кончил университет, один из самых дорогих в мире университетов, а спросите его, чему он научился, на что он способен. Я совершенно не знаю, что он будет дальше делать. В мое время молодые люди становились врачами, офицерами, нотариусами, а вот он, вероятно, мечтает быть летчиком или платным танцором”. Мартыну было невдомек, чего именно он служил примером, аббат по-видимому понимал парадоксы дяди Генриха и сочувственно улыбался. Иногда Мартына так раздражали подобные разговоры, что он был готов сказать дяде – и, увы, отчиму – грубость, но во время останавливался, заметив особое выражение, которое появлялось на лице у Софьи Дмитриевны всякий раз, как Генрих впадал в красноречие. Тут была и едва проступавшая ласковая насмешка, и какая-то грусть, и бессловесная просьба простить чудаку, – и еще что-то неизъяснимое, очень мудрое. И Мартын молчал, втайне отвечая дяде Генриху примерно так: “Неправда, что я в Кембридже занимался пустяками. Неправда, что я ничему не научился. Колумб, прежде, чем взяться через западное плечо за восточное ухо, отправился инкогнито для получения кое-каких справок в Исландию, зная, что тамошние моряки – народ дошлый и дальноходный. Я тоже собираюсь исследовать далекую землю”.

ГЛАВА XXXI

Софья Дмитриевна не докучала сыну нудными разговорами, до которых был падок Генрих; она не спрашивала его, чем он собирается заниматься, считая, что это все как-то само собой устроится, и была только счастлива, что он сейчас при ней, здоров, плечист, темен от загара, лупит в теннис, говорит низким голосом, ежедневно бреется и вгоняет в мак молодую, яркоглазую мадам Гишар, местную купчиху. Порою она думала о том, что Россия вдруг стряхнет дурной сон, полосатый шлагбаум поднимется, и все вернутся, займут прежние свои места, — и Боже мой, как подросли деревья, как уменьшился дом, какая грусть и счастье, как пахнет земля... По утрам она так же страстно ждала почтальона, как и во дни пребывания сына в Кембридже и, когда теперь приходило, — а приходило оно нечасто, — письмо на имя Мартына, в конторском конверте с паукообразным почерком и берлинской маркой, она испытывала живейшую радость, и, схватив письмо, спешила к нему в комнату. Мартын еще лежал в постели, очень взлохмаченный, посасывал папиросу, держа руку у подбородка. Он видел в зеркале, как солнечной раной раскрывалась дверь, и видел особое выражение на розовом, веснушчатом лице матери: по ее плотно-сжатым, но уже готовым расплыться в улыбку губам, он знал, что есть письмо. “Сегодня ничего для тебя нет”, — небрежно говорила Софья Дмитриевна, держа руку за спиной, но сын уже протягивал нетерпеливые пальцы, и она, просияв, прикладывала конверт к груди, и оба смеялись, и затем, не желая мешать его удовольствию, она отходила к окну, облокачивалась, захватив ладонями щеки, и с чувством совершенного счастья глядела на горы, на одну далекую, розовато-снежную вершину, которая была видна только из этого окна. Мартын, залпом проглотив письмо, притворялся значительно более довольным, чем на самом деле, так что Софья Дмитриевна представляла себе эти письма от маленькой Зилановой полными нежности и вероятно почувствовала бы печальную обиду за сына, если бы ей довелось их прочесть. Она помнила маленькую Зиланову со странной ясностью: черноволосая, бледная девочка, всегда с ангиной или после ангины, с шеей, забинтованной или пожелтевшей от йода; она помнила, как однажды повела десятилетнего Мартына к Зилановым на елку, и маленькая Соня была в белом платье с кружевцами и с широким шелковым кушаком на бедрах. Мартын же этого не помнил вовсе, елок было много, они мешались, и только одно было очень живо, ибо повторялось всегда: мать говорила, что пора домой, и засовывала пальцы за воротник его матроски, проверяя, не очень ли он потен от беготни, а он еще рвался куда-то с огромной золотой хлопушкой в руке, но хватка матери была ревнива, и вот уже натягивались шерстяные рейтузики, почти до подмышек, надевались ботики, полушубок, с туго застегивавшимся на душке крючком, отвратительно щекотный башлык, — и вот — морозная радуга фонарей проходит по стеклам кареты. Мартына волновало, что тогда и теперь выражение материнских глаз было то же, — что и теперь она легко трогала его за шею, когда он возвращался с тенниса, и приносила Сонино письмо с тою же нежностью, как некогда — выписанное из Англии духовое ружье в длинной картонной коробке.

Ружье оказывалось не совсем таким, как он ожидал, не совпадало с мечтой о нем, как и теперь письма Сони были не такими, каких ему хотелось. Она писала редко, писала как-то судорожно, ни одного не попадалось таинственного слова, и ему приходилось удовлетворяться такими выражениями, как: “часто вспоминаю добрый, старый Кембридж” или “всех благ, мой маленький цветочек, жму лапу”. Она сообщала, что служит, машинка да стенография, что с Ириной очень трудно, — сплошная истерия, — что у отца ничего путного не вышло с газетой, и он теперь налаживает издательское дело, что в доме иногда не бывает ни копейки, и очень грустно, что масса знакомых, и очень весело, что трамваи в Берлине зеленые, и что в теннис берлинцы играют в крахмальных воротничках и подтяжках. Мартын терпел, терпел, протерпел лето, осень и зиму, и как-то, в апрельский день, объявил дяде Генриху, что едет в Берлин. Тот надулся и сказал недовольно: “Мне кажется, дружок, что это лишено здравого смысла. Ты всегда успеешь увидеть Европу, — я сам думал осенью взять вас, тебя и твою мать, в Италию. Но ведь нельзя без конца валандаться. Короче, — я хотел тебе предложить попробовать твои молодые силы в Женеве”. — (Мартын хорошо знал о чем речь, — уже несколько раз выползал, крадучись, этот жалкий разговор о каком-то ком-

мерческом доме братьев Пти, с которыми дядя Генрих был в деловых сношениях), – “попробовать твои молодые силы, – повторил дядя Генрих. – В этот жестокий век, в этот век очень практический, юноша должен научиться зарабатывать свой хлеб и пробивать себе дорогу. Ты основательно знаешь английский язык. Иностранная корреспонденция – вещь крайне интересная. Что же касается Берлина... Ты ведь не очень силен в немецком, – не так ли? Не вижу, что ты будешь там делать”. “Предположим, что ничего”. – угрюмо сказал Мартын. Дядя Генрих посмотрел на него с удивлением. “Станный ответ. Не знаю, что твой отец подумал бы о подобном ответе. Мне кажется, что он, как и я, был бы удивлен, что юноша, полный здоровья и сил, гнушается всякой работы. Пойми, пойми, – поспешно добавил дядя Генрих, заметив, что Мартын неприятно побагровел, – я вовсе не мелочен. Я достаточно богат, слава Богу, чтобы тебя обеспечить, – я себе делаю из этого долг и счастье, – но с твоей стороны было бы безумием не работать. Европа проходит через неслыханный кризис, человек теряет состояние в мгновение ока. Это так, ничего не поделаешь, надо быть ко всему готовым”. “Мне твоих денег не нужно”, – тихо и грубо сказал Мартын. Дядя Генрих сделал вид, будто не расслышал, но его глаза налились слезами. “Неужели, – спросил он, – у тебя нет честолюбия? Неужели ты не думаешь о карьере? Мы, Эдельвейсы, всегда умели работать. Твой дед был сначала бедным домашним учителем. Когда он сделал предложение твоей бабушке, ее родители прогнали его из дому. И вот – через год он возвращается директором экспортной фирмы, и тогда, разумеется, все препятствия были сметены...” “Мне твоих денег не нужно, – еще тише повторил Мартын, – а насчет дедушки – это все глупая семейная легенда, – и ты это знаешь”. “Что с ним, что с ним, – с испугом забормотал дядя Генрих. – Какое ты имеешь право меня так оскорблять? Что я тебе сделал худого? Я, который всегда...” – “Одним словом, я еду в Берлин”, – перебил Мартын, и, дрожа, вышел из комнаты.

ГЛАВА XXXII

Вечером было примирение, объятия, сморкание, разнеженный кашель, – но Мартын настоял на своем. Софья Дмитриевна, чувствуя его тоску по Соне, оказалась его сообщницей и бодро улыбалась, когда он садился в автомобиль.

Как только дом скрылся из вида, Мартын переменялся местами с шофером и легко, почти нежно держа руль, словно нечто живое и ценное, и глядя, как мощная машина глотает дорогу, испытывал почти то же, что в детстве, когда, сев на пол, так, чтобы педали рояля пришились под подошвы, держал между ног табурет с круглым вращающимся сидением, орудовал им, как рулем, брал на полном ходу восхитительные повороты, еще и еще нажимал педаль (рояль при этом гукал) и шурился от воображаемого ветра. Затем, в поезде, в немецком вагоне, где в простенках были небольшие карты, как раз тех областей, по которым данный поезд не проходил, – Мартын наслаждался путешествием, ел шоколад, курил, совал окурок под железную крышку пепельницы, полной сигарного праха. К Берлину он подъезжал вечером и, глядя прямо из вагона на уже освещенные улицы, пережил снова давнишнее детское впечатление Берлина, счастливые жители которого могут хоть каждый день смотреть на поезд баснословного следования, плывущий по черному мосту над ежедневной улицей, и вот этим отличался Берлин от Петербурга, где железнодорожное движение скрывалось, как некое таинство. Но через неделю, когда он к городу присмотрелся, Мартын был уже бессилен восстановить тот угол зрения, при котором черты показались знакомы, – как при встрече с человеком, годами не виденным, признаешь сперва его облик и голос, а присмотришься – и тут же наглядно проделывается все то, что незаметно проделало время, меняются черты, разрушается сходство, и сидит чужой человек, самодовольный поглотитель небольшого и хрупкого своего двойника, которого отныне уже будет трудно вообразить, – если только не поможет случай. Когда Мартын нарочно посещал те улицы в Берлине, тот перекресток, ту площадь, которые он видел в детстве, ничто, ничто не волновало душу, но зато, при случайном запахе угля или бензинного перегара, при особом бледном оттенке неба сквозь кисею занавески, при дрожи оконных стекол, разбуженных грузовиком, он мгновенно проникался тем городским, отельным, бледно-утренним, чем некогда пахнул на него Берлин. Игрушечные магазины на когда-то нарядной улице поределели, осунулись, локомоти-

вы в них были теперь поменьше, поплоче. Мостовая на этой улице была разворочена, рабочие в жилетках сверлили, дымили, рыли глубокие ямы, так что приходилось пробираться по мосткам, а иногда даже по рыхлому песку. В пассажном паноптикуме потеряли свою страшную прелесть человек в саване, энергично выходящий из могилы, и железная женщина для чрезвычайной пытки. Когда Мартын пошел искать на Курфюрстендаме тот огромный скэтинг-ринг, от которого остались в памяти: гремучий раскат колесиков, красная форма инструкторов, раковина оркестра, соленый торт-мокко, подававшийся в круговых ложах, и паде-патинер, которое он танцевал под всякую музыку, подгибая то правый, то левый ролик, и Бог ты мой, как он раз шлепнулся, — оказалось, что все это исчезло бесследно. Курфюрстендам изменился тоже, возмужал, вытянулся, и где-то — не то под новым домом, не то на пустыре, — была могила большого тенниса в двадцать площадок, где раза два Мартын играл с матерью, которая, подавая снизу мяч, говорила ясным голосом “плэй” и, бегая, шуршала юбкой. Теперь, не выходя из города, он добирался до Груневальда, где жили Зилановы, и от Сони узнавал, что бессмысленно ездить за покупками к Вертхайму, и что вовсе не обязательно посещать Винтергартен, — где некогда высокий потолок был, как дивное звездное небо, и в ложах, у освещенных столиков, сидели прусские офицеры, затянутые в корсеты, а на сцене двенадцать голоногих девиц пели гортанными голосами и, держась под руки, переливались справа налево и обратно и вскидывали двенадцать белых ног, и маленький Мартын тихо охнул, узнав в них тех миловидных, скромных англичанок, которые, как и он, бывали по утрам на деревянном катке.

Но пожалуй самым неожиданным в этом новом, широко расплзавшемся Берлине, таком тихом, деревенском, растяпистом по сравнению с гремящим, ясным и нарядным городом Мартынова детства, — самым неожиданным в нем была та развязная, громкоголосая Россия, которая тараторила повсюду — в трамваях, на углах, в магазинах, на балконах домов. Лет десять тому назад, в одной из своих пророческих грез (а у всякого человека с большим воображением бывают грезы пророческие, — такова математика грез), петербургский отрок Мартын снился себе самому изгнанником, и подступали слезы, когда, на воображаемом дебаркадере, освещенном причудливо тускло, он невзначай знакомился — с кем?.. — с земляком, сидящим на сундуке, в ночь озноба и запозданий, и какие были дивные разговоры! Для роли этих земляков он попросту брал русских, замеченных им во время заграничной поездки, — семью в Биаррице, с гувернанткой, гувернером, бритым лакеем и рыжей таксой, замечательную белокурую даму в берлинском Кайзергофе, или в коридоре норд-экспресса старого господина в черной мурмолке, которого отец шепотом называл “писатель Боборыкин”, — и, выбрав им подходящие костюмы и реплики, посылал их для встреч с собой в отдаленнейшие места света. Ныне эта случайная мечта — следствие Бог весть какой детской книги — воплотилась полностью и, пожалуй,хватила через край. Когда, в трамвае, толстая расписная дама уныло повисала на ремне и, гремя роскошными русскими звуками, говорила через плечо своему спутнику, старику в седых усах: “Поразительно, прямо поразительно, — ни один из этих невеж не уступит место”, — Мартын вскакивал и, с сияющей улыбкой повторяя то, что некогда в отроческих мечтах случайно прорепетировал, восклицал: “Пожалуйста!” — и, сразу побледнев от волнения, повисал в свою очередь на ремне. Мирные немцы, которых дама звала невежами, были все усталые, голодные, работающие, и серые бутерброды, которые они жевали в трамвае, пускай раздражали русских, но были необходимы: настоящие обеды обходились дорого в тот год, и, когда Мартын менял в трамвае доллар, — вместо того, чтобы на этот доллар купить доходный дом, — у кондуктора от счастья и удивления тряслись руки. Доллары Мартын зарабатывал особым способом, которым очень гордился. Труд был, правда, каторжный. С мая, когда он на этот труд набрел (благодаря милейшему русскому немцу Киндерману, уже второй год преподававшему теннис случайным богачам), и до середины октября, когда он вернулся на зиму к матери, и потом опять целую весну, — Мартын работал почти ежедневно с раннего утра до заката, — держа в левой руке пять мячей (Киндерман умел держать шесть), посылал их по одному через сетку все тем же гладким ударом ракеты, меж тем, как напряженный пожилой ученик (или ученица) по ту сторону сетки старательно размахивался и обыкновенно никуда не попадал. Первое время Мартын так уставал, так ныло правое плечо, так горели ноги, что, придя домой, он сразу ложился в постель. От солнца волосы посветлели, лицо потемнело, — он казался негативом самого себя. Майорская вдова,

его квартирная хозяйка, от которой он для пущей таинственности скрывал свою профессию, полагала, что бедняга принужден, как, увы, многие интеллигентные люди, заниматься черным трудом, таскать камни, например (отсюда загар), и стесняется этого, как всякий деликатный человек. Она деликатно вздыхала и угощала его по вечерам колбасой, присланной дочерью из померанского имения. Была она саженого роста, краснолицая, по воскресеньям душилась одеколоном, держала у себя в комнате попугая и черепаху. Мартына она считала жильцом идеальным: он редко бывал дома, гостей не принимал и не пользовался ванной (последнюю заменяли сполна душ в клубе и груневальдское озеро). Эта ванна была вся снутри облеплена хозяйскими волосами, сверху на веревке зловонно сохли безымянные тряпки, а рядом у стены стоял старый, пыльный, поржавевший велосипед. Впрочем добратся до ванны было мудрено: туда вел длинный, темный, необыкновенно угластый коридор, заставленный всяким хламом. Комната же Мартына была вовсе не плохая, очень забавная, с такими предметами роскоши, как пианино, спокон века запертое на ключ, или громоздкий, сложный барометр, испортившийся года за два до последней войны, — а над диваном, на зеленой стене, как постоянное, благожелательное напоминание, вставал из беклиновских волн тот же голый старик с трезубцем, который — в раме попроще — оживлял гостиную Зилановых.

ГЛАВА XXXIII

Когда в первый раз он к ним пришел, увидел их дешевую, темную квартиру, состоявшую из четырех комнат и кухни, где на столе сидела по-новому причесанная, совсем чужая Соня и, качая ножками в заштопанных чулках, тянула носом и чистила картофель, Мартын понял, что нечего ждать от Сони, кроме огорчений, и что напрасно он махнул в Берлин. Чужое в ней было все: и бронзового оттенка джемпер, и открытые уши, и простуженный голос, — ее донимал сильный насморк, вокруг ноздрей и под носом было розово, она чистила картофель, сморкалась и, высморкавшись, уныло крякала и опять срезала ножом спирали бурой шелухи. К ужину была гречневая каша, маргарин вместо масла; Ирина пришла к столу, держа на руках котенка, с которым не расставалась, и встретила Мартына радостным и страшным смехом. И Ольга Павловна и Елена Павловна постарели за этот год, еще больше стали похожи друг на дружку, и только один Зиланов был все тот же и с прежнею мощью резал хлеб. “Я слышал, — (хряк, хряк) — что Грузинов в Лозанне, вы его — (хряк) — не встречали? Мой большой приятель и замечательная волевая личность”. Мартын не имел ни малейшего представления, кто такой Грузинов, но ничего не спросил, боясь попасть впросак. После ужина Соня мыла тарелки, а он их вытирал, и одну разбил. “С ума сойти, все заложено, — сказала она, — и пояснила: “Да нет, не вещи, а у меня в носу. Вещи, впрочем, тоже”. Затем она спустилась вместе с ним, чтобы отпереть ему дверь, — и очень забавно при нажиме кнопки стучало что-то, и вспыхивал на лестнице свет, — и Мартын покашливал и не мог выговорить ни одного слова из всех тех, которые он собирался Соне сказать. Далее последовали вечера, совсем другие, — множество гостей, танцы под граммофон, танцы в ближнем кафе, темнота маленького кинематографа за углом. Со всех сторон возникали вокруг Мартына новые люди, туманности рождали миры, и вот получало определенные имена и облики все русское, рассыпанное по Берлину, все, что так волновало Мартына, — будь это просто обрывок житейского разговора среди прущей панельной толпы, хамелеонное словцо — доллары, доллары, долларá, — или схваченная на лету речитативная ссора четы, “а я тебе говорю...” — для женского голоса, — “ну, и пожалуйста...” — для мужского, — или, наконец, человек, летней ночью с задранной головой бьющий в ладони под освещенным окном, выкликающий звучное имя и отчество, от которого сотрясается вся улица, и шарахается, нервно хрюкнув, таксомотор, чуть не налетевший на голосистого гостя, который уже отступил на серединку мостовой, чтобы лучше видеть, не появился ли Петрушкой в окне нужный ему человек. Через Зилановых Мартын узнал людей, среди которых сначала почувствовал себя невеждой и чужаком. В некотором смысле с ним повторялось то же, что было, когда он приехал в Лондон. И теперь, когда на квартире у писателя Бубнова большими волнами шел разговор, полный имен, и Соня, все знавшая, смотрела искоса на него с насмешливым сожалением, Мартын

краснел, терялся, собирался пустить свое утлое словцо на волны чужих речей, да так, чтобы оно не опрокинулось сразу, и все не мог решиться, и потому молчал; зато, устыдясь отсталости своих познаний, он много читал по ночам и в дождливые дни, и очень скоро принялся к тому особому запаху – запаху тюремных библиотек, – который исходил от советской словесности.

ГЛАВА XXXIV

Писатель Бубнов, – всегда с удовольствием отмечавший, сколь много выдающихся литературных имен двадцатого века начинается на букву “б”, – был плотный, тридцатилетний, уже лысый мужчина с огромным лбом, глубокими глазницами и квадратным подбородком. Он курил трубку, – сильно вбирая щеки при каждой затяжке, – носил старый черный галстук бантиком и считал Мартына франтом и европейцем. Мартына же пленяла его напористая круглая речь и вполне заслуженная писательская слава. Начав писать уже за границей, Бубнов за три года выпустил три прекрасных книги, писал четвертую, героем ее был Христофор Колумб – или, точнее, русский дьяк, чудесно попавший матросом на одну из Колумбовых каравелл, – а так как Бубнов не знал ни одного языка, кроме русского, то для собирания некоторых материалов, имевшихся в Государственной библиотеке, охотно брал с собою Мартына, когда тот бывал свободен. Немецким Мартын владел плоховато и потому радовался, если текст попадался французский, английский, или – еще лучше – итальянский: этот язык он знал, правда, еще хуже немецкого, но небольшое свое знание особенно ценил, памятуя, как с меланхолическим Тэдди переводил Данте. У Бубнова бывали писатели, журналисты, прыщеватые молодые поэты, – все это были люди, по мнению Бубнова, среднего таланта, и он праведно царил среди них, выслушивал, прикрыв ладонью глаза, очередное стихотворение о тоске по родине или о Петербурге (с непременно присутствием Медного Всадника) и затем говорил, тиская бритый подбородок: “Да, хорошо”; и повторял, уставившись бледно-карими, немного собачьими, глазами в одну точку: “Хорошо”, с менее убедительным оттенком; и, снова переменив направление взгляда, говорил: “Не плохо”; а затем: “Только, знаете, слишком у вас Петербург портативный”; и постепенно снижая суждение, доходил до того, что глухо, со вздохом, бормотал: “Все это не то, все это не нужно”, и удрученно мотал головой, и вдруг, с блеском, с восторгом, разрешался стихом из Пушкина, – и, когда однажды молодой поэт, обиженный, возразил: “То Пушкин, а это я”, – Бубнов подумал и сказал: “А все-таки у вас хуже”. Случалось, впрочем, что чья-нибудь вещь была действительно хороша, и Бубнов, – особенно, если вещь была написана прозой, – делался необыкновенно мрачным и несколько дней пребывал не в духах. С Мартыном, который, кроме писем к матери, ничего не писал, (и был за это прозван одним острословом “наша мадам де Севинье”), Бубнов дружил искренно и безбоязненно, и раз даже, после третьей кружки пильзнера, весь налитой светлым пивом, весь тугой и прозрачный, мечтательно заговорил (и это напомнило Яйлу, костер) о девушке, у которой поет душа, поют глаза, и кожа бледна, как дорогой фарфор, – и затем свирепо глянул на Мартына и сказал: “Да, это пошло, сладко, отвратительно, фу... презирай меня, пускай я бездарь, но я ее люблю. Ее имя, как купол, как свист голубиных крыл, я вижу свет в ее имени, особый свет, “кана-инум” старых хадирских мудрецов, – свет оттуда, с востока, – о, это большая тайна, страшная тайна”; и уже истошным шепотом: “Женская прелесть страшна, – ты понимаешь меня, – страшна. И туфельки у нее стоптаны, стоптаны...”

Мартын стеснялся и молча кивал. С Бубновым он всегда чувствовал себя странно, не много как во сне, – и как-то не совсем доверял ни ему, ни хадирским старцам. Другие Сонины знакомые, как, например, веселый зубастый Каллистратов, бывший офицер, теперь занимавшийся автомобильным извозом, или милая, белая, полногрудая Веретенникова, игравшая на гитаре и певшая звучным контральто “Есть на Волге утес”, или молодой Иоголевич, умный, ехидный, малоразговорчивый юноша в роговых очках, читавший Пруста и Джойса, были куда проще Бубнова. К этим Сониным друзьям примешивались и пожилые знакомые ее родителей, – все люди почтенные, общественные, чистые, вполне достойные будущего некролога в сто кристальных строк. Но, когда, в июльский день, от разрыва сердца

умер на улице, охнув и грузно упав ничком, старый Иоголевич, и в русских газетах было очень много о незаменимой утрате и подлинном труженике, и Михаил Платонович, с портфелем подмышкой, шел один из первых за гробом, среди роз и черного мрамора еврейских могил, Мартыну казалось, что слова некролога “пламенел любовью к России” или “всегда держал высоко перо” – как-то унижают покойного тем, что они же, эти слова могли быть применены и к Зиланову, и к самому маститому автору некролога. Мартыну было больше всего жаль своеобразия покойного, действительно незаменимого, – его жестов, бороды, лепных морщин, неожиданной застенчивой улыбки, и пиджачной пуговицы, висевшей на нитке, и манеры всем языком лизнуть марку, прежде, чем ее налепить на конверт да хлопнуть по ней кулаком. Это было в каком-то смысле ценнее его общественных заслуг, для которых был такой удобный шаблончик, – и со странным перескоком мысли Мартын поклялся себе, что никогда сам не будет состоять ни в одной партии, не будет присутствовать ни на одном заседании, никогда не будет тем персонажем, которому предоставляется слово, или который закрывает прения и чувствует при этом все восторги гражданственности. И часто Мартын дивился, почему никак не может заговорить о сокровенных своих замыслах с Зилановым, с его друзьями, со всеми этими деятельными, почтенными, бескорыстно любящими родину русскими людьми.

ГЛАВА XXXV

Но Соня, Соня... От ночных мыслей об экспедиции, от литературных бесед с Бубновым, от ежедневных трудов на теннисе, он снова и снова к ней возвращался, подносил для нее спичку к газовой плите, где сразу, с сильным пыхом, выпускал все когти голубой огонь. Говорить с ней о любви было бесполезно, но однажды, провожая ее домой из кафе, где они тянули сквозь соломинки шведский пунш под скрипичный вой румына, он почувствовал такую нежность от теплоты ночи, и от того, что в каждом подъезде стояла неподвижная чета, – так подействовали на него их смех и шепот, и внезапное молчание, – и сумрачное колыхание сирени в палисадниках, и диковинные тени, которыми свет фонаря оживлял леса обновлявшегося дома, – что внезапно он забыл обычную выдержку, обычную боязнь быть поднятым Соней на зубки, – и чудом заговорил – и о чем? – о Горации... Да, Гораций жил в Риме, а Рим походил на большую деревню, где, впрочем, немало было мраморных зданий, но тут же гнались за бешеной собакой, тут же хлюпала в грязи свинья с черными своими поросятами, – и всюду строили, стучали плотники, громыхая, проезжала телега с лигурийским мрамором или огромной сосной, – но к вечеру стук затихал, как затихал в сумерки Берлин, и напоследок гремели железные цепи запираемых на ночь лавок, совсем, как гремели, спускаясь, ставни лавок берлинских, и Гораций шел на Марсово поле, тщедушный, но с брюшком, лысый и ушастый, в неряшливой тоге, и слушал нежный шепот бесед под портиками, прелестный смех в темных углах.

“Ты такой милый, – вдруг сказала Соня, – что я должна тебя поцеловать, – только стой, отойдем сюда”. У решетки, через которую свисала листва, Мартын привлек к себе Соню, и, чтобы не терять ничего из этой минуты, не зажмурился, медленно целуя ее холодные мягкие губы, а следил за бледным отсветом на ее щеке, за дрожью ее опущенных век: веки поднялись на мгновение, обнажив влажный слепой блеск, и прикрылись опять, и она вздрагивала, и вытягивала губы, и вдруг ладонью отодвинула его лицо, и, стуча зубами, вполголоса сказала, что больше не надо, пожалуйста, больше не надо.

“А если я другого люблю?” – спросила Соня с нежданной живостью, когда они снова побрели по улице. “Это ужасно”, – сказал Мартын и почувствовал, что было какое-то мгновение, когда он мог Соню удержать, – а теперь она опять выскользнула. “Убери руку, мне неудобно идти, что за манера, как воскресный приказчик”, – вдруг проговорила она, и последняя надежда, блаженно теплое ощущение ее голого предплечья под его рукой, – исчезло тоже. “У него есть по крайней мере талант, – сказала она, – а ты – ничто, просто путешественной барчук”. “У кого – у него?” Она ничего не ответила и молчала до самого дома; но на прощание поцеловала еще раз, закинув ему за шею обнаженную руку, и, с серьезным лицом, потупясь, заперла снутри дверь, и он проследил сквозь дверное стекло, как она подня-

лась по лестнице, поглаживая балюстраду, – и вот – исчезла за поворотом, и вот – потух свет.

“С Дарвином вероятно было то же самое”, – подумал Мартын, и ему страшно захотелось его повидать, – но Дарвин был далеко, в Америке, посланный туда лондонской газетой. И на другой день простыл след этого вечера, точно его не было вовсе, и Соня уехала с друзьями за город, на Павлиний остров, там был пикник, и купание, Мартын об этом даже не знал, – и, когда вечером подходил к ее дому, неся подмышкой большую плюшевую собаку с малиновым бантом, купленную за пять минут до закрытия магазина, то встретил на улице всю возвращавшуюся компанию, и у Сони на плечах был пиджак Каллистратова, и какая-то вспыхивала между ней и Каллистратовым шутка, смысл которой никто Мартыну не потрудился открыть.

Тогда он ей написал письмо, и несколько дней отсутствовал; она ему ответила дней через десять цветной фотографической открыткой; – смазливый молодой мужчина наклоняется сзади над зеленой скамейкой, на которой сидит смазливая молодая женщина, любящая букетом роз, а внизу золотыми буквами немецкий стишок: “Пускай умалчивает сердце о том, что розы говорят”. “Какие миленькие, – написала на обороте Соня, – знай наших! А ты – вот что: приходи, у меня три струны лопнули на ракете”. И ни слова о письме. Но зато при одной из ближайших встреч она сказала: “Послушай, это глупо, можешь, наконец, пропустить один день, тебя заменит Киндерман”. “У него свои уроки”, – нерешительно ответил Мартын, – но все же с Киндерманом поговорил, и вот, в удивительный день, совершенно безоблачный, Мартын и Соня поехали в озерные, камышовые, сосновые окрестности города, и Мартын героически держал данное ей слово, не делал мармеладных глаз – ее выражение – и не пытался к ней прикоснуться. С этого дня началась между ними по случайному поводу серия особенных разговоров. Мартын, решив поразить Сонино воображение, очень туманно намекнул на то, что вступил в тайный союз, налаживающий кое-какие операции разведочно-го свойства. Правда, союзы такие существовали, правда, общий знакомый, поручик Мелких, по слухам пробирался дважды кое-куда, правда и то, что Мартын все искал случая поближе с ним сойтись (раз даже угощал его ужином) и все жалел, что не встретился в Швейцарии с Грузиновым, о котором упомянул Зиланов, и который, по наведенным справкам, оказался человеком больших авантур, террористом, заговорщиком, руководителем недавних крестьянских восстаний. “Я не знала, что ты о таких вещах думаешь. Но только, знаешь, если ты правда вступил в организацию, очень глупо об этом сразу болтать”. “Ах, я пошутил”, – сказал Мартын и загадочно прищурился для того, чтобы Соня подумала, что он нарочно обратил это в шутку. Но она этой тонкости не заметила; валяясь на сухой, хвойными иглами устланной земле, под соснами, стволы которых были испещрены солнцем, она закинула голые руки за голову, показывая прелестные впадины подмышек, недавно выбритые и теперь словно заштрихованные карандашом, – и сказала, что это странно, – она тоже об этом часто думает: вот есть на свете страна, куда вход простым смертным воспрещен: “Как мы ее назовем?” – спросил Мартын, вдруг вспомнив игры с Лидой на крымском лукоморье. “Что-нибудь такое – северное, – ответила Соня. – Смотри, белка”. Белка, играя в прятки, толчками поднялась по стволу и куда-то исчезла. “Например – Зоорландия, – сказал Мартын. – О ней упоминают норманны”. “Ну, конечно – Зоорландия”, – подхватила Соня, и он широко улыбнулся, несколько потрясенный неожиданно открывшейся в ней способностью мечтать. “Можно снять муравья?” – спросил он в скобках. “Зависит откуда”. “С чулка”. “Убирайся, милый”, – обратилась она к муравью, смахнула его сама и продолжала: “Там холодные зимы и сосулищи с крыш, – целая система, как, что ли, органические трубы, – а потом все тает, и все очень водянисто, и на снегу – точки вроде копоты, вообще, знаешь, я все могу тебе рассказать, вот, например, вышел там закон, что всем жителям надо брить головы, и потому теперь самые важные, самые такие влиятельные люди – парикмахеры”. “Равенство голов”, – сказал Мартын. “Да. И конечно лучше всего лысым. И, знаешь – “ “Бубнов был бы счастлив”, – в шутку вставил Мартын. На это Соня почему-то обиделась и вдруг иссякла. Все же с того дня она изредка соизволяла играть с ним в Зоорландию, и Мартын терзался мыслью, что она, быть может, изощренно глумится над ним и вот-вот заставит его оступиться, доведя его незаметно до черты, за которой бредни становятся безвкусны, и внезапным хохотом разбудив босого лунатика, который видит вдруг и карниз, на котором висит, и свою задравшуюся ру-

башку, и толпу на панели, глядящую вверх, и каски пожарных. Но если это был со стороны Сони обман, – все равно, все равно, его прельщала возможность пускать перед ней душу свою налегке. Они изучали зоорландский быт и законы, страна была скалистая, ветреная, и ветер признан был благою силой, ибо, ратуя за равенство, не терпел башен и высоких деревьев, а сам был только выразителем социальных стремлений воздушных слоев, прилежно следящих, чтобы вот тут не было жарче, чем вот там. И конечно искусства и науки объявлены были вне закона, ибо слишком обидно и раздражительно для честных невежд видеть задумчивость грамотея и его слишком толстые книги. Бритоголовые, в бурых рясах, зоорландцы грелись у костров, в которых звучно лопались струны сжигаемых скрипок, а иные поговаривали о том, что пора пригладить гористую страну, взорвать горы, чтобы они не торчали так высокомерно. Иногда среди общей беседы, за столом, например, – Соня вдруг поворачивалась к нему и быстро шептала: “Ты слышал, вышел закон, запретили гусеницам окуклиться”, – или: “Я забыла тебе сказать, что Саван-на-рыло” (кличка одного из вождей) “приказал врачам лечить все болезни одним способом, а не разбрасываться”.

ГЛАВА XXXVI

Вернувшись на зиму в Швейцарию, Мартын предвкушал занятную корреспонденцию, но Соня в нечастых своих письмах не упоминала больше о Зоорландии; зато в одном из них просила от имени отца передать Грузинову привет. Оказалось, что Грузинов жил как раз в гостинице, столь привлекавшей Мартына, но, когда он на лыжах спустился туда, то узнал, что Грузинов на время уехал. Привет он передал жене Грузинова, Валентине Львовне, свежей, ярко одетой, сорокалетней даме с иссиня-черными волосами, улыбавшейся очень осторожно, так как передние зубы (всегда запачканные кармином) чересчур выдавались, и она спешила натянуть на них верхнюю губу. Таких очаровательных рук, как у нее, Мартын никогда не видал: маленьких, мягких, в жарких перстнях. Но, хотя ее все считали привлекательной и восхищались ее плавными телодвижениями, звучным, ласковым голосом, Мартын остался холоден, и ему было неприятно, что она, чего доброго, старается ему нравиться. Боялся он, впрочем, зря. Валентина Львовна была к нему так же равнодушна, как к высокому, носатому англичанину с седой щетиной на узкой голове и с пестрым шарфом вокруг шеи, который катал ее на салазках.

“Муж вернется только в июле”, – сказала она и принялась расспрашивать про Зилановых....”Да-да, я слышала, – несчастная мать, – “ (Мартын упомянул об Ирине). – “Вы ведь знаете, с чего это началось?” Мартын знал: четырнадцатилетняя Ирина, тогда тихая, полная девочка, склонная к меланхолии, оказалась с матерью в теплушке, среди всякого сброда. Они ехали бесконечно, – и двое забияк, несмотря на уговоры товарищей, то и дело щупали, щипали, щекотали ее и говорили чудовищные сальности, и мать, улыбаясь от ужаса, беспомощно старалась ее защитить и все повторяла: “Ничего, Ирочка, ничего, ах, пожалуйста, оставьте девочку, как вам не совестно, ничего, Ирочка...” – и совершенно так же вскрикивала и причитала, и совершенно так же держала дочь за голову, когда, уже в другом вагоне, поближе к Москве, солдаты – на полном ходу – вытискивали в окно ее толстого мужа, который чудом подобрал семью на засыпанной снегом станции. Да, он был очень толст и истерически смеялся, так как застрял в окне, но наконец напиравшие густо ухнули, и он исчез, и мимо пустого окна мчался слепой снег. Затем был у Ирины тиф, и она непонятно как выжила, но перестала владеть человеческой речью и только в Лондоне научилась по разному мычать и довольно сносно произносить “ма-ма”.

Мартын, никогда как-то Ириной не занимаясь, давно привыкнув к ее дурости, но теперь что-то его потрясло, когда Валентина Львовна сказала: “Вот у них в доме есть постоянный живой символ”. Зоорландская ночь показалась еще темнее, дебри ее лесов еще глубже, и Мартын уже знал, что никто и ничто не может ему помешать вольным странником пробраться в эти леса, где в сумраке мучат толстых детей, и пахнет гарью и тленом. И, когда он по весне впопыхах вернулся в Берлин, к Соне, ему мерещилось (так полны приключений были его зимние ночи), что он уже побывал в той одинокой, отважной экспедиции и вот – будет рассказывать, рассказывать. Войдя к ней в комнату, он сказал, торопясь это выгово-

рять, покамест еще не подпал под знакомое опустошительное влияние ее тусклых глаз: “Так, так я когда-нибудь вернусь и тогда, вот тогда...” “Ничего никогда не будет”, – воскликнула она тоном пушкинской Наины. Была она еще бледнее обыкновенного, очень уставала на службе; дома ходила в старом черном бархатном платье с ремешком вокруг бедер и в шлепанцах с потрепанными помпонами. Часто по вечерам, надев макинтош, она уходила куда-то, и Мартын, послонявшись по комнатам, медленно направлялся к трамвайной остановке, глубоко засунув руки в карманы штанов, а перебравшись на другой конец Берлина, нежно посвистывал под окном танцовщицы из “Эреба”, с которой познакомился в теннисном клубе. Она вылетала на балкончик и на миг замирала у перил, и затем исчезала, и, вылетев опять, бросала ему завернутый в бумагу ключ. У нее Мартын пил зеленый мятный ликер и целовал ее в золотую голую спину, и она сильно сдвигала лопатки и трясла головой. Он любил смотреть, как она, быстро и тесно переставляя мускулистые загорелые ноги, ходит по комнате, ругая ругая все того же антрепренера, любил ее странное лицо с неестественно тонкими бровями, оранжеватым румянцем и гладко зачесанными назад волосами, – и тщетно старался не думать о Соне. Как-то, в майский вечер, когда он с улицы переливчато и тихо свистнул, на балкончике, вместо танцовщицы, появился пожилой господин в подтяжках; Мартын вздохнул и ушел, вернулся к дому Зилановых и ходил взад и вперед, от фонаря к фонарю. Соня появилась за полночь, одна, и, пока она рылась в сумке, ища связку ключей, Мартын к ней подошел и робко спросил, куда она ходила. “Ты меня оставишь когда-нибудь в покое?” – воскликнула Соня и, не дождавшись ответа, хрустнула дважды ключом, и тяжелая дверь открылась, замерла, бухнула. А затем Мартыну стало казаться, что не только Соня, но и все общие знакомые, как-то его сторонятся, что никому он не нужен и никем не любим. Он заходил к Бубнову, и тот смотрел на него странным взглядом, просил извинения и продолжал писать. И, наконец, чувствуя, что еще немного, и он превратится в Сонину тень и будет до конца жизни скользить по берлинским панелям, израсходовав на тщетную страсть то важное, торжественное, что зрело в нем. Мартын решил развязаться с Берлином и где-нибудь, все равно где, в очистительном одиночестве спокойно обдумать план экспедиции. В середине мая, уже с билетом на Страсбург в бумажнике, он зашел попрощаться с Соней, и конечно ее не оказалось дома; в сумерках комнаты сидела, вся в белом, Ирина, плавала в сумерках, как призрачная черепаха и не сводила с него глаз, и тогда он написал на конверте: “В Зоорландии вводится полярная ночь”, – и, оставив конверт на Сониной подушке, сел в ожидавший таксомотор и, без пальто, без шляпы, с одним чемоданом, – уехал.

ГЛАВА XXXVII

Как только тронулся поезд, Мартын ожил, повеселел, исполнился дорожного волнения, в котором он теперь усматривал необходимую тренировку. Пересев во французский поезд, идущий через Лион на юг, он как будто окончательно высвободился из Сониных туманов. И вот, уже за Лионом, развернулась южная ночь, отражения окон бежали бледными квадратами по черному скату, и в грязном, до ужаса жарком отделении второго класса единственным спутником Мартына был пожилой француз, бритый, бровастый, с лоснящимися маслами. Француз скинул пиджак и быстрым перебором пальцев сверху вниз расстегнул жилет; стянул манжеты, словно отвинтил руки, и бережно положил эти два крахмальных цилиндра в сетку. Затем, сидя на краю лавки, покачиваясь, – поезд шел во всю, – подняв подбородок, он отцепил воротник и галстук, и так как галстук был готовый, пристяжной, то опять было впечатление, что человек разбирается по частям и сейчас снимет голову. Обнажив дряблую, как у индюка, шею, француз облегченно ею повертел и, согнувшись, крикая, сменил ботинки на старые ночные туфли. Теперь в открытой на курчавой груди рубашке, он производил впечатление доброго малого, слегка подвыпившего, – ибо эти ночные спутники, с блестящими бледными лицами и осоловелыми глазами, всегда кажутся захмелевшими от вагонной качки и жары. Порывшись в корзине, он вынул бутылку красного вина и большой апельсин, сперва глотнул из горлышка, чмокнул губами, крепко, со скрипом, вдавил пробку обратно, и принялся большим пальцем оголять апельсин, предварительно укусив его в темя. И тут, встретившись глазами с Мартыном, который, положив на колено Таухниц, только что

приготовился зевнуть, француз заговорил: “Это уже Прованс”, – сказал он с улыбкой, шевельнув усатой бровью по направлению окна, в зеркально-черном стекле которого чистил апельсин его тусклый двойник. “Да, чувствуется юг”, – ответил Мартын. “Вы англичанин?” – осведомился тот и разорвал на две части очищенный, в клочьях седины, апельсин. “Правильно, – ответил Мартын. – Как вы угадали?” Француз, сочно жуя, повел плечом. “Не так уж мудрено”, – сказал он, и, глотнув, указал волосатым пальцем на Таухниц. Мартын снисходительно улыбнулся. “А я лионец, – продолжал тот, – и состою в винной торговле. Мне приходится много разъезжать, но я люблю движение. Видишь новые места, новых людей, мир – наконец. У меня жена и маленькая дочь”, – добавил он, вытирая бумажкой концы растопыренных пальцев. Затем, посмотрев на Мартына, на его единственный чемодан, на мятые штаны и сообразив, что англичанин-турист вряд ли поехал бы вторым классом, он сказал, заранее кивая: “Вы путешественник?” Мартын понял, что это просто сокращение – вояжер вместо коммивояжер. “Да, я именно путешественник, – ответил он, старательно придавая французской речи британскую густоту, – но путешественник в более широком смысле. Я еду очень далеко”. “Но вы в коммерции?” Мартын замотал головой. “Вы это, значит, делаете для вашего удовольствия?” – “Пожалуй”, – согласился Мартын. Француз помолчал и затем спросил: “Вы едете пока что в Марсель?” “Да, вероятно в Марсель. У меня, видите ли, не все еще приготовления закончены”. Француз кивнул, но явно был озадачен. “Приготовления, – продолжал Мартын, – должны быть в таких вещах очень тщательны. Я около года провел в Берлине, где думал найти нужные мне сведения, и что же вы думаете?..” “У меня племянник инженер”, – вкрадчиво вставил француз. “О, нет, я не занимаюсь техническими науками, не для этого я посещал Германию. Но вот – я говорю: вы не можете себе представить, как было трудно выуживать справки. Дело в том, что я предполагаю исследовать одну далекую, почти недоступную область. Кое-кто туда пробирался, но как этих людей найти, как их заставить рассказать? Что у меня есть? Только карта”, – и Мартын указал на чемодан, где действительно находилась одноверстка, которую он добыл в Берлине в бывшем Генеральном Штабе. Последовало молчание. Поезд гремел и трясся. “Я всегда утверждаю, – сказал француз, – что у наших колоний большая будущность. У ваших, разумеется, тоже, – и у вас их так много. Один лионец из моих знакомых провел десять лет на тропиках и говорит, что охотно бы туда вернулся. Он мне однажды рассказывал, как обезьяны, держа друг дружку за хвосты, переходят по стволу через реку, – это было дьявольски смешно, – за хвосты, за хвосты...” “Колонии это особь-статья, – сказал Мартын. – Я собираюсь не в колонии. Мой путь будет пролегать через дикие опасные места, и – кто знает? – может быть мне не удастся вернуться”. “Это экспедиция научная, что ли?” – спросил француз, раздавливая задними зубами зевок. “Отчасти. Но – как вам объяснить? Это не главное. Главное, главное... Нет, право, я не знаю, как объяснить”. “Понятно, понятно, – устало сказал француз. – Вы, англичане, любите пари и рекорды, – слово “рекорды” прозвучало у него сонным рычанием. – На что миру голая скала в облаках? Или – ох, как хочется спать в поезде! – айсберги, как их зовут, полюс – наконец? Или болота, где дохнут от лихорадки?” “Да, вы, пожалуй, попали в точку, но это не все, не только спорт. Да, это далеко не все. Ведь есть еще, – как бы сказать? – любовь, нежность к земле, тысячи чувств, довольно таинственных”. Француз сделал круглые глаза и вдруг, поддавшись вперед, легонько хлопнул Мартына по колену. “Смеяться изволите надо мной?” – сказал он благодушно. “Ах, ничуть, ничуть”. “Полно, – сказал он, откинувшись в свой угол. – Вы еще слишком молоды, чтобы бегать по Сахарам. Если разрешите, мы сейчас приушим свет и соснем”.

ГЛАВА XXXVIII

Тьма. Француз почти тотчас захрапел. “А все-таки он поверил, что я англичанин. И вот так я буду ехать на север, вот так, – в вагоне, который нельзя остановить, – а потом, потом...” Он побрел по лесной тропинке, тропинка разматывалась, разматывалась, но сон к нему навстречу не шел. Мартын открыл глаза. Хорошо бы спустить оконную раму. Теплый ночной ветер хлынул в лицо, и, напрягая зрение, Мартын высунулся, но в глаза летела незримая пыль, быстрая ночь ослепляла, он втянул голову. В темноте отделения раздался ка-

шель. “Нет уж, пожалуйста, – проговорил недовольный голос. – Я не желаю спать под звездами. Закройте, закройте”. “Закройте сами”, – сказал Мартын и, выйдя в освещенный коридор, пошел мимо отделений, где угадывалась сонная мешанина беспомощных, полураздетых тел, сопение и вздохи, по-рыбьи открытые рты, клонящаяся и вдруг поднимающаяся голова, а прямо ей в нос – чужая пятка. Перебираясь из тамбура в тамбур по скрежещущим железным площадкам, Мартын прошел через два вагона третьего класса. Двери некоторых отделений были открыты, в одном голубые солдаты шумно играли в карты. Дальше, в коридоре спального вагона, он остановился у полупущенного окна и так живо вспомнил вдруг детское свое путешествие по югу Франции, и вот это откидное сидение у окна, и матерчатый ремень, при помощи которого можно было управлять поездом, и дивную мелодию на трех языках, – особенно: периколоза... Он подумал, – какая странная, странная выдалась жизнь, – ему показалось, что он никогда не выходил из экспресса, а просто слонялся из одного вагона в другой, и в одном были молодые англичане, Дарвин, торжественно берущийся за рукоять тормоза, в другом – Алла с мужем, а не то – крымские друзья или храпящий дядя Генрих, или Зилановы, Михаил Платонович, с газетой, Соня, тусклым взглядом уставившаяся в окно. “А потом пешёчком, пешёчком”, – взволнованно проговорил Мартын, – лес и выющаяся в нем тропинка... какие большие деревья! А тут, в этом спальном вагоне, тут ехало должно быть детство его; дрожа, освобождало кожаную сторку, а если пройти дальше, там – вагон-ресторан, и отец с матерью обедают, – на столике болванка шоколада в фиолетовой обертке, а над раскидными дверцами мреет винтовой вентилятор среди цветущих реклам. И вдруг Мартын увидел в окно то, что видел и в детстве, – огни, далеко, среди темных холмов; вот кто-то их пересыпал из ладони в ладонь и положил в карман. И пока он глядел, поезд начал тормозить, – и тогда Мартын сказал себе, что, если будет сейчас станция, он выйдет, и уже оттуда пойдет к огням. Так и случилось. Подплыла платформа, лунный диск часов, и поезд остановился, выдохнув: “Уш-ш-ш-ш-ш...” Мартын опрометью бросился к своему вагону, не сразу мог найти отделение, дважды внедрялся в чужую сопящую темноту и наконец нашел, бесцеремонно зажег свет, и француз на лавке медленно приподнялся, протирая кулаками глаза. Мартын сдернул чемодан, сунул в карман книгу, – все это страшно спеша. Он не заметил, что уже поезд тихо поплыл, и потому едва не упал, спрыгнув на скользящую платформу. Прошли окна, окна, окна, и вот – уже поезда нет, пустые рельсы, поблескивание угольной пыли между шпал.

Мартын, глубоко дыша, пошел по платформе, и носильщик, везущий на тачке ящик с надписью “Fragile”, весело сказал, с особой южной металлической интонацией: “Вы проснулись во время”. “Скажите, – любопытствовал Мартын, – что в этом ящике?” Тот взглянул на ящик, словно впервые его заметил. “Музей естественных наук”, – прочел он адрес. “Вот оно что, вероятно коллекция”, – произнес Мартын и направился туда, где стояло несколько столиков у входа в тускло освещенный буфет.

Воздух был бархатный, теплый; белым светом горел газовый фонарь, и вокруг – металась бледная мошкара, и одна широкая, темная бабочка на седой подкладке. Стену украшало сажненное объявление военного ведомства, старающееся соблазнить молодых людей прелестями военной службы: на переднем плане – бравый французский солдат, на заднем – финиковая пальма, дромадер, араб в бурнусе, а с краю – две пышных женщины в чарчафах.

Платформа была безлюдна. Поодаль стояли клетки со спящими курами. По ту сторону рельс смутно чернели растрепанные кусты. Пахло в воздухе углем, можжевельником и мочой. Из буфета вышла смуглая старуха, и Мартын спросил себе аперитив, прекрасное название коего прочел на одной из реклам. Погодя рабочий, весь в синем, сел за соседний столик и, уронив голову на руку, уснул. “Я хочу кое-что узнать, – сказал Мартын старухе. – Подъезжая сюда, я видел огни”. “Где? Вон там?” – переспросила она, протянув руку в том направлении, откуда пришел поезд. Мартын кивнул. “Это может быть только Молиньак, – сказала она. – Да, Молиньак. Маленькая деревня”. Мартын расплатился и пошел к выходу. Темная площадь, платаны, дальше – синеватые дома, узкая улица. Он уже шел по ней, когда спохватился, что забыл посмотреть с платформы на вокзальную вывеску, и теперь не знает названия города, в который попал. Это приятно взволновало его. Как знать, – быть может, он уже за пограничной чертой... ночь, неизвестность... сейчас окликнут...

ГЛАВА XXXIX

Проснувшись на другое утро, Мартын не сразу мог восстановить вчерашнее, — а проснулся он оттого, что лицо щекотали мухи. Замечательно мягкая постель; аскетический умывальник, а рядом туалетное орудие скрипичной формы; жаркий голубой свет, дышащий в светлую занавеску. Он давно так славно не высыпался, давно не был так голоден. Откинув занавеску, он увидел напротив ослепительно белую стену в пестрых афишах, а несколько левее полосатые маркизы лавок, пегую собаку, которая задней лапой чесала себе за ухом, и блеск воды, струящейся между панелью и мостовой.

...Звонок громко пробежал по всей двухэтажной гостинице и, бойко топая, пришла яркоглазая грязная горничная. Он потребовал много хлеба, много масла, много кофе и, когда она все это принесла, спросил, как ему добраться до Молиньяка. Она оказалась разговорчивой и любознательной. Мартын мельком упомянул о том, что он немец, — приехал сюда по поручению музея собирать насекомых, и при этом горничная задумчиво посмотрела на стену, где виднелись подозрительные рыжие точки. Постепенно выяснилось, что через месяц, может быть даже раньше, между городом и Молиньяком установится автобусное сообщение. “Значит, надо пешком?” спросил Мартын. “Пятнадцать километров, — с ужасом воскликнула горничная, — что вы! Да еще по такой жаре...”

Купив карту местности в табачной лавке, над вывеской которой торчала трехцветная трубка, Мартын зашагал по солнечной стороне улочки и сразу заметил, что его открытый ворот и отсутствие головного убора возбуждают всеобщее внимание. Городок был яркий, белый, резко разделенный на свет и на тень, с многочисленными кондитерскими. Дома, налезая друг на друга, отошли в сторону, и шоссеная дорога, обсаженная огромными платанами с телесного цвета разводами на зеленых стволах, потекла мимо виноградников. Редкие встречные, каменщики, дети, бабы в черных соломенных шляпах, — съедали глазами. Мартыну внезапно явилась мысль проделать полезный для будущего опыт: он пошел, хоронаясь, — перескакивая через канаву и скрываясь за ежевику, если вдали показывалась повозка, запряженная осликом в черных шорах, или пыльный, расхлябанный автомобиль. Версты через две он и вовсе покинул дорогу и стал пробираться параллельно с ней по косогору, где дубки, блестящий мирт и каркасные деревца заслоняли его. Солнце так пекло, так трещали цикады, так пряно и жарко пахло, что он в конец разомлел и сел в тень, вытирая платком холодную, липкую шею. Посмотрев на карту, он убедился в том, что на пятом километре дорога дает петлю, и потому, если пойти на восток через вон тот желтый от дрока холм, можно вероятно попасть на ее продолжение. Перевалив на ту сторону, он действительно увидел белую змею дороги и опять пошел вдоль нее, среди благоуханных зарослей и все радовался своей способности опознавать местность.

Вдруг он услышал прохладный звук воды и подумал, что в мире нет лучше музыки. В туннеле листвы дрожал на плоских камнях ручей. Мартын опустился на колени, утолил жажду, глубоко вздохнул. Затем он закурил: от серной спички передался в рот сладковатый вкус, и огонек спички был почти незрим в знойном воздухе. И, сидя на камне и слушая журчание воды, Мартын наслаждался сполна чувством путевой беспечности, — он, потерянный странник, был один в чудном мире, совершенно к нему равнодушном, — играли в воздухе бабочки, юркали ящерицы по камням, и блестели листья, как блестят они и в русском лесу, и в лесу африканском.

Было уже далеко за полдень, когда Мартын вошел в Молиньяк. Вот, значит, где горели огни, звавшие его еще в детстве. Тишина, зной. В бегущей вдоль узкой панели узловатой воде сквозило разноцветное дно, — черепки битой посуды. На булыжниках и на теплой панели дремали робкие, белые, страшно худые собаки. Посреди небольшой площади стоял памятник: лицо женского пола, с крыльями, поднявшее знамя.

Мартын прежде всего зашел на почтамт, где было прохладно, темновато, сонно. Там он написал матери открытку под пронзительное зудение мухи, одной лапкой приклеившейся к медово-желтому листу на подоконнике. С этой открытки начался новый пакетик в комод у Софьи Дмитриевны, — предпоследний.

ГЛАВА XL

Хозяйке единственной в Молиньяке гостиницы и затем брату хозяйки, лиловому от вина и полнокровия фермеру, к которому, в виду полного обнищания, ему пришлось через неделю наняться в батраки, Мартын сказал, что – швейцарец (это подтверждал паспорт), и дал понять, что давно шатается по свету, работая где попало. Третий раз таким образом он менял отечество, пытая доверчивость чужих людей и учась жить инкогнито. То, что он родом из далекой северной страны, давно приобрело оттенок обольстительной тайны. Вольным заморским гостем он разгуливал по басурманским базарам, – все было очень занимательно и пестро, но где бы он ни бывал, ничто не могло в нем ослабить удивительное ощущение избранности. Таких слов, таких понятий и образов, какие создала Россия, не было в других странах, – и часто он доходил до косноязычия, до нервного смеха, пытаясь объяснить иноземцу, что такое “оскомина” или “пошлость”. Ему льстила влюбленность англичан в Чехова, влюбленность немцев в Достоевского. Как-то в Кембридже он нашел в номере местного журнала шестидесятых годов стихотворение, хладнокровно подписанное “А. Джемсон”: “Я иду по дороге один, мой каменистый путь простирается далеко, тиха ночь и холоден камень, и ведется разговор между звездой и звездой”. На него находила поволока странной задумчивости, когда, бывало, доносились из пропасти берлинского двора звуки переимчивой шарманки, не ведающей, что ее песня жалобила томных пьяниц в русских кабаках. Музыка... Мартыну было жаль, что какой-то страж не пускает ему на язык звуков, живущих в слухе. Все же, когда, повисая на ветвях провансальских черешен, горланили молодые итальянцы-рабочие, Мартын – хрипло и бодро, и феноменально фальшиво затягивал что-нибудь свое, и это был звук той поры, когда на крымских ночных пикниках баритон Зарянского, потопляемый хором, пел о чарочке, о семиструнной подруге, об иностранном-иностранном офицере.

Глубоко внизу бежала под ветром люцерна, сверху наваливалась жаркая синева, у самой щеки шелестели листья в серебристых прожилках, и клеенчатая корзинка, нацепленная на сук, постепенно тяжелела, наполняясь крупными, глянцеви́то-черными черешнями, которые Мартын срывал за тугие хвосты. Когда черешни были собраны, поспело другое, абрикосы, пропитанные солнцем, и персики, которые следовало нежно подхватывать ладонью, а то получались на них синяки. Были и еще работы: по пояс голый, с уже терракотовой спиной, Мартын, в угоду молодой кукурузе, разрыхлял, подкучивал землю, выбивал углом цапки лукавый, упорный пырей, или часами нагибался над ростками яблонь и груш, щелкал секатором, – и как же весело было, когда из дворового бассейна проводилась вода к питомнику, где киркой проложенные борозды соединялись между собой и с чашками, расцепанными вокруг деревца; блистая на солнце, растекалась по всему питомнику напущенная вода, пробиралась, как живая, вот остановилась, вот побежала дальше, словно нащупывая путь, и Мартын, изредка морщась от уколов крохотных репейников, чавкал по щиколки в жирной, лиловой грязи, – тут втыкал с размаху железный щит в виде преграды, там, напротив, помогал струе пробиться, – и, хлюпая, шел к чашке вокруг деревца: чашка наполнялась пузырчатой, коричневой водой, и он шарил в ней лопатой, сердобольно размягчая почву, и что-то изумительно легчало, вода просачивалась, благодатно омывала корни. Он был счастлив, что умеет утолить жажду растения, счастлив, что случай помог ему найти труд, на котором он может проверить и сметливость свою, и выносливость. Он жил, вместе с другими рабочими, в сарае, выпивал, как они, полтора литра вина в сутки и находил спортивную отраду в том, что от них не отличается ничем, – разве только светлой бородкой, незаметно им отпущенной.

По вечерам, перед тем, как завалиться спать, он шел покурить и погрезить к пробковой роще за фермой. Где-то невдалеке прерывисто и сочно свистали соловьи, а с бассейна уже доносился гуттаперчевый, давящийся квох лягушек. Воздух был нежен и тускловат, это были не совсем сумерки, но уже не день, и террасы олив, и мифологические холмы вдалеке, и отдельно стоящая на бугре сосна, все было немножко плоско и обморочно, а ровное, потухшее небо теснило, дурманило, и хотелось поскорее, чтобы в нем просквозили живительные звезды. Темнело, темнело, на почерневших холмах уже вздрагивали огоньки, зажигались

окна в хозяйском доме, еще минута – и окрест был сумрак, и, когда, далече-далече, в неведомой темноте, горящими члениками проползал рокочущий поезд и внезапно исчезал, Мартын с удовольствием говорил себе, что оттуда, из этого поезда, видны ферма и Молиньяк, как соблазнительная пригоршня огней. Он радовался, что послушался их, раскрыл их прекрасную, тихую сущность, – и однажды, в воскресный вечер, он набрел в Молиньяке на небольшой, белый дом, окруженный крутыми виноградниками, и увидел покосившийся столб с надписью: “продается”. В самом деле, – не лучше ли отбросить опасную и озорную затею, не лучше ли отказаться от желания заглянуть в беспощадную зоорландскую ночь, и не поселиться ли с молодой женой вот здесь, на клине тучной земли, ждущей трудолюбивого хозяина? Да, надо было решить: время шло, близилась черная осенняя ночь, им намеченная для перехода, и он уже чувствовал себя отдохнувшим, спокойным, уверенным в своей способности прикидываться чем угодно, никогда не теряться, всегда и везде уметь жить так, как требуют обстоятельства...

И вот, пытая судьбу, он написал Соне. Ответ пришел скоро, и, прочтя его, Мартын облегченно вздохнул. “Да не мучь ты меня”, – писала Соня. – “Ради Бога, довольно. Я не буду твоей женой никогда. И я ненавижу виноградники, жару, змей и, главное, чеснок. Поставь на мне крест, удружи, миленький”.

В тот же день он на автобусе покатил в город, сбрил светлую бородку, взял в гостинице чемодан и пошел на станцию. Там, у того же столика, положив голову на руку, дремал тот же рабочий. Зажигались фонари, реяли летучие мыши, выпцветало зеленоватое небо. “Прощай, прощай”, – на какой-то песенный лад подумал Мартын, глядя на растрепанный можжевельник по ту сторону уже дрожавших рельс, на семафор, на черный силуэт человека, подвигавшего черный силуэт тачки.

Влетел ночной экспресс, через минуту тронулся опять, и Мартына пронзило мгновенное желание выскочить, вернуться на благополучную, на сказочную, ферму. Но станция уже сгнула. Глядя в окно, он ждал появления Молиньякских огней, чтобы проститься с ними. Вот они рассыпались вдалеке, – они были так хороши, даже как-то не верилось... “Скажите, – обратился Мартын к кондуктору, – вон эти огни, это – Молиньяк?” “Какие огни?” – спросил тот и взглянул в окно, – но тут все заслонил вдруг поднявшийся скат. “Во всяком случае это не Молиньяк, – сказал кондуктор. – Молиньяк не виден отсюда”.

ГЛАВА XLI

На швейцарской границе Мартын купил “Зарубежное Слово” и едва поверил глазам, заметив внизу крупный заголовок фельетона: “Зоорландия”. Подписано было “С. Бубнов”. Это оказался короткий, чудесным языком написанный рассказ “с налетом фантастики”, как выражаются критики, и в нем Мартын со смущением и ужасом узнал (словно произошла страшная непристойность) многое из того, о чем он говорил с Соней, – но все это было странно освещено чужим, бубновским, воображением. “Какая она все-таки предательница”, – подумал Мартын и в порыве острой и безнадежной ревности вспомнил, как видел однажды Бубнова и Соню, идущих по темной улице под руку, и как уверил себя, что обознался, когда Соня на другой день сказала, что была с Веретенниковой в кинематографе.

Моросило, горы были видны только до половины, когда, в шарабане, среди тюков, корзин и тучных женщин, он приехал в деревню, от которой было десять минут ходьбы до дядино дома. Софья Дмитриевна знала, что сын скоро должен приехать, – третий день ждала телеграммы, с волнением думая, как поедет его встречать на станцию в автомобиле. Она сидела в гостиной и вышивала, когда услышала из сада басок сына и тот его круглый, глуховатый смех, которым он смеялся, когда возвращался после долгой разлуки. Мартын шел рядом с раскрасневшейся Марией, которая старалась выхватить у него чемодан, а он его на ходу все перемещал из одной руки в другую. Сын был с лица медно-темен, глаза посветлели, от него дивно пахло табачным перегаром, мокрой шерстью пиджака, поездом. “Ты теперь надолго, надолго”, – повторяла она счастливым, лающим голосом. “Вообще – да, – солидно ответил Мартын. – Только вот недели через две мне нужно будет съездить по делу в Берлин, – а потом я вернусь”. “Ах, какие там дела, успеется!” – воскликнула она, – и дядя

Генрих, который почивал у себя после завтрака, проснулся, прислушался, поспешно обулся и спустился вниз.

“Блудный сын, – сказал он входя, – я очень рад тебя видеть опять”. Мартын щекой коснулся его щеки, и оба одновременно чмокнули пустоту, как было между ними принято. “Надеюсь – на некоторое время?” – спросил дядя, не спуская с него глаз, и ощупью взялся за спинку стула, и сел, растопырив ноги. “Вообще – да, – ответил Мартын, пожирая ветчину, – только вот недели через две мне придется съездить в Берлин, – но потом я вернусь”. “Не вернешься, – сказала со смехом Софья Дмитриевна, – знаю тебя. Ну, расскажи, как это все было. Неужели ты правда пахал, и косил, и доил?” “Доить очень весело”, – сказал Мартын, и показал двумя расставленными пальцами, как это делается (как раз доить коров ему в Молиньяке не проходило, – был для этого его тезка, Мартэн Рок, – и неизвестно, почему он сначала рассказал именно об этом, когда было так много другого, подлинного).

Утром, взглянув на горы, Мартын снова, на тот же несколько всхлипывающий мотив, подумал: “Прощай, прощай”, – но сразу пожурил себя за недостойное малодушие, и тут вошла Софья Дмитриевна с письмом, и, уже с порога – так, чтобы не дать времени сыну напрасно подумать, что это от Сони, – бодро сказала: “От твоего Дарвина. Забыла тебе вчера дать”. Мартын с первых же строк начал тихо смеяться. Дарвин писал, что женится на удивительной девушке, англичанке, встреченной в гостинице над Ниагарой, что ему приходится много разъезжать, и что он будет через неделю в Берлине. “Да пригласи его сюда, – живо сказала Софья Дмитриевна, – чего же проще?” “Нет-нет, я тебе говорю, что я должен там быть, выходит вполне удачно...”

“Скажи, Мартын”, – начала Софья Дмитриевна и замялась. “В чем дело?” – спросил он со смехом. “Как у тебя там все, – ну, ты знаешь, о чем я спрашиваю... Ты может быть уже обручен?” Мартын шурился и смеялся, и ничего не отвечал. “Я буду ее очень любить”, – тихо, святым голосом, произнесла Софья Дмитриевна. “Пойдем гулять, чудная погода”, – сказал Мартын, делая вид, что меняет разговор. “Ты пойди, – ответила она. – Я, дура, как раз на сегодня пригласила старичков Друэ, и они умрут от разрыва сердца, если им протелефонировать”.

В саду дядя Генрих прилаживал лесенку к стволу яблони и потом, с величайшей осторожностью, поднялся на третью ступеньку. У колодца, позабыв о ведре, переполнявшемся блестящей водой, стояла, подбоченясь, Мария и глядела куда-то в сторону. Она очень раздобрела за последние годы, но в эту минуту, с солнечными бликами на голой шее, на платье, на туго скрученных косах, она Мартыну напомнила его мимолетную влюбленность. Мария быстро повернула к нему лицо. Толстое и тупое.

ГЛАВА XLII

Упруго идя по тропе в черной еловой чаще, где, там и сям, сияла желтизной тонкая береза, он с восторгом предвкушал вот такую же прохваченную солнцем осеннюю глушь, с паутинами, растянутыми на лучах, с зарослями царского чая в сырых ложбинках, – и вдруг просвет, и дальше – простор, пустые осенние поля и на пригорке плотную белую церковку, пасущую несколько бревенчатых изб, готовых вот-вот разбрестись, и вокруг пригорка ясную излучину реки с кудрявыми отражениями. Он был почти удивлен, когда, сквозь черноту хвои, глянул альпийский склон.

Это напомнило ему, что до отъезда следовало рассчитаться с совестью. Деловито и неторопливо он поднялся по склону, достиг серых изломанных скал, вскарабкался по каменистой крутизне и оказался на той площадке, откуда вел за угол знакомый карниз. Не задумываясь, исполняя приказ, коего послушаться было немислимо, он принялся боком переступать по узкой полке и, когда дошел до конца, посмотрел через плечо и увидел тотчас за каблуками солнечную бездну, и в самой глубине – фарфоровую гостиницу. “На, выкуси”, – сказал ей Мартын и, не поддаваясь головокружению, двинулся налево, откуда пришел, – и еще раз остановился, и, проверяя свою выдержку, попробовал извлечь из заднего кармана штанов портсигар и закурить. Было одно мгновение, когда, грудью касаясь скалы, он руками за нее не держался и чувствовал, как пропасть за ним напрягается, тянет его за икры и плечи. Он не

закурил только потому, что выронил спичечный коробок, и было очень страшно, что звука падения не последовало, и, когда он опять двинулся по карнизу, ему казалось, что коробок все еще летит. Благополучно добравшись до площадки, Мартын крикнул от радости и опять деловито, со строгим сознанием выполненного долга, пошел вниз по склону и, найдя нужную тропинку, спустился к белой гостинице – посмотреть, что она на все это скажет. Там – в саду, около тенниса, – он увидел Валентину Львовну, сидевшую на скамейке рядом с господином в белых штанах, и понадеялся, что она не заметит его, – было жаль так скоро растрасти то драгоценное, что принес он с вершины. “Мартын Сергеич, а, Мартын Сергеич”, – крикнула она, и Мартын осклабился и подошел. “Это сын доктора Эдельвейса”, – сказала Валентина Львовна господину в белых штанах. Тот привстал и, не снимая канотье, отодвинул локоть, нацелился и, резко выехав вперед ладонью, крепко пожал Мартыну руку. “Грузинов”, – сказал он вполголоса, как будто сообщая тайну.

“Надолго приехали?” – спросила Валентина Львовна с улыбкой и быстро натянула яркую, с пушком, губу на большие розовые зубы. “Вообще – да, – сказал Мартын. – Только вот съезжу по делам в Берлин, а потом вернусь”. “Мартын... Сергеевич?” – тихо справился Грузинов и, на утвердительный ответ Мартына прикрыл веки и повторил его имя-отчество еще раз про себя. “А знаете, вы”... – проговорила Валентина Львовна и сделала вазообразный жест своими дивными руками. “Еще бы, – ответил Мартын. – Я батрачил на юге Франции. Там так спокойно живет, что нельзя не поправиться”. Грузинов двумя пальцами потрогал себя за углы рта, и при этом его добротное, чистое, молоджавое лицо со сливочным оттенком на щеках, из которых, казалось, можно было сделать тянушки, приняло немного бабье выражение. “Да, вспомнил, – сказал он. – Его зовут Круглов, и он женат на турчанке”, – (“ах, садитесь”, – вскользь произнесла Валентина Львовна и двумя толчками отодвинула вбок свое мягкое, очень надушенное тело, – чтобы дать Мартыну место на скамейке) – “у него как раз заимка на юге Франции, – развил свою мысль Грузинов, – и, кажется, он поставляет в город жасмин. Вы в каких же местах были, – тоже в духовельных?” Мартын сказал. “Во-во, – подхватил Грузинов, – где-то там по близости. А, может быть, и не там. Вы что, учитесь в берлинском университете?” “Нет, я кончил в Кембридже”. “Весьма любопытно, – веско сказал Грузинов. – Там еще сохранились римские водопроводы, – продолжал он, обратившись к жене. – Представь себе, голубка, этих римлян, которые вдалеке от родины устраиваются на чужой земле, – и заметь: хорошо, удобно, по-барски”.

Мартын никаких особенных водопроводов в Кембридже не видал, но все же счел нужным закивать. Как всегда в присутствии людей замечательных, с необыкновенным прошлым, он испытывал приятное волнение и уже решал про себя, как лучше всего воспользоваться новым знакомством. Оказалось однако, что Юрия Тимофеевича Грузинова не так-то легко привести в благое состояние духа, когда человек вылезает из себя, как из норы, и усаживается нагишом на солнце. Юрий Тимофеевич не желал вылезать. Он был в совершенстве добродушен и вместе с тем непроницаем, он охотно говорил на любую тему, обсуждал явления природы и человеческие дела, но всегда было что-то такое в этих речах, отчего слушатель вдруг спрашивал себя, не измывается ли над ним потихоньку этот сдобный, плотный, опрятный господин с холодными глазами, как бы не участвующими в разговоре. Когда прежде, бывало, рассказывали о нем, о страсти его к опасности, о переходах через границу, о таинственных восстаниях, Мартын представлял себе что-то властное, орлиное. Теперь же, глядя, как Юрий Тимофеевич открывает черный, из двух частей, футляр и нацепляет для чтения очки, – очень почему-то простые очки, в металлической оправе, какие подстать было бы носить пожилому рабочему, мастеру со складным аршином в кармане, – Мартын чувствовал, что Грузинов другим и не мог быть. Его простоватость, даже некоторая рыхлость, старомодная изысканность в платье (фланелевый жилет в полоску), его шутки, его обстоятельность, – все это было прочной оболочкой, коконом, который Мартын никак не мог разорвать. Однако самый факт, что встретился он с ним почти накануне экспедиции, казался Мартыну залогом успеха. Это тем более было удачно, что, вернись Мартын в Швейцарию на месяц позже, он бы Грузинова не застал: Грузинов был бы уже в Бессарабии.

Прогулки. До водопада, до Сен-Клера, до пещеры, где некогда жил отшельник. И обротно. Сентябрь был жаркий, погожий. – Утром, бывало, моросит, а уже к полудню весь мир нежно вспыхивает на солнце, блестят стволы деревьев, горят синие лужи на дороге, и горы, разогревшись, освобождаются от туманного облачения. Впереди – Софья Дмитриевна и Валентина Львовна, сзади – Грузинов и Мартын. Грузинов шагал с удовольствием, крепко опираясь на самодельную трость, и не любил, когда останавливались, чтобы поглазеть на вид: он говорил, что это портит ритм прогулки. Раз с какой-то фермы метнулась овчарка и стала посреди дороги, урча. Валентина Львовна сказала: “ой, я боюсь”, – зашла за спину мужа, а Мартын взял палку из руки матери, которая, обращаясь к собаке, издавала тот звук, каким у нас подгоняют лошадей. Один Грузинов поступил правильно: он сделал вид, что поднимает с земли камень, и собака сразу отскочила. Пустяк, конечно, – но Мартын любил такие пустяки. В другой раз, видя, что Мартыну трудно идти без трости по очень крутой тропинке, Грузинов извлек из кармана финский нож, выбрал деревцо и, молча, очень точными ударами ножа, смастерил ему палку, гладкую, белую, еще живую, еще свежую на ощупь. Тоже пустяк, – но эта палка почему-то пахла Россией. Софья Дмитриевна находила Грузинова милейшим и как-то за завтраком сказала мужу, что он непременно должен по ближе с ним познакомиться, что о нем уже сложились легенды. “Не спорю, не спорю, – ответил дядя Генрих, поливая салат уксусом, – но ведь это авантюрист, человек не совсем нашего общества, впрочем, если хочешь, зови”. Мартын пожалел, что не услышит, как Юрий Тимофеевич разговорится с дядей Генрихом, – о деспотизме машин, о вещественности нашего века. После завтрака Мартын последовал за дядей в кабинет и сказал: “Я во вторник еду в Берлин. Мне нужно с тобой поговорить”. “Куда тебя несет?” – недовольно спросил дядя Генрих и добавил, тараща глаза и качая головой: “Твоя мать будет крайне огорчена, – сам знаешь”. “Я обязан поехать, – продолжал Мартын. – У меня есть дело”. “Амурное?” – полюбопытствовал дядя Генрих. Мартын без улыбки покачал головой. “Так что же?” – пробормотал дядя Генрих и поглядел на кончик зубочистки, которой он уже некоторое время производил раскопки. “Это о деньгах, – довольно твердо сказал Мартын, – я хочу попросить тебя дать мне в долг. Ты знаешь, что я летом хорошо зарабатываю. Я тебе летом отдам”. “Сколько?” – спросил дядя Генрих, и лицо его приняло довольное выражение, глаза подернулись влагой, – он чрезвычайно любил показывать Мартыну свою щедрость. “Пятьсот франков”. Дядя Генрих поднял брови. “Это, значит, карточный долг, так что ли?” “Если ты не хочешь...” – начал Мартын, с ненавистью глядя, как дядя обсасывает зубочистку. Тот сразу испугался. “У меня есть правило, – проговорил он примирительно, – никогда не следует требовать от молодого человека откровенности. Я сам был молод и знаю, как иногда молодой человек бывает опрометчив, это только естественно. Но следует избегать азартных... ах постой же, постой, куда ты, – я же тебе дам, я дам, – мне не жалко, – а насчет того, чтобы вернуть...” “Значит ровно пятьсот, – сказал Мартын, – и я уезжаю во вторник”.

Дверь приоткрылась. “Мне можно?” – спросила Софья Дмитриевна тонким голосом. “Какие у вас тут секреты? – немного жеманно продолжала она, беспокойно перебегая глазами с сына на мужа. – Мне разве нельзя знать?” “Да нет, все о том же, – о братьях Пти”, – ответил Мартын. “А он, между прочим, во вторник отбывает”, – произнес дядя Генрих и сунул зубочистку в жилетный карман. “Как, уже?” – протянула Софья Дмитриевна. “Да, уже, уже, уже, уже”, – с несвойственным ему раздражением сказал сын и вышел из комнаты. “Он без дела свихнется”, – заметил дядя Генрих, комментируя грохот двери.

ГЛАВА XLIV

Когда Мартын вошел в надоевший сад гостиницы, он увидел Юрия Тимофеевича, стоящего у теннисной площадки, на которой шла довольно живая игра между двумя юношами. “Смотрите, – козлами скачут, – сказал Грузинов, – а вот у нас был кузнец, вот он действительно здорово жарил в лапту, – за каланчу лупнет, или за речку, – очень просто. Пустить бы его сюда, как бы он разбил этих молодчиков”. “В теннисе другие правила”, – заметил Мартын. “Он бы им без всяких правил наклап”, – спокойно возразил Грузинов. Последовало

молчание. Хлопали мячи. Мартын прищурился. “У блондина довольно классный драйв”. “Комик”, – сказал Грузинов и потрепал его по плечу. Меж тем подошла Валентина Львовна, плавно покачивая бедрами, а потом завидела двух знакомых барышень англичанок и поплыла к ним, осторожно улыбаясь. “Юрий Тимофеич, – сказал Мартын, – у меня к вам разговор. Это важно и секретно”. “Сделайте одолжение. Я – гроб-могила”. Мартын нерешительно огляделся. “Я не знаю...” – начал он. “Дык пойдемте ко мне”, – предложил Грузинов.

В номере было тесно, темновато, и сильно пахло духами Валентины Львовны. Грузинов растворил окно, на один миг он был как большая темная птица, раскинутая на золотом фоне, и затем все вспыхнуло, солнце, разбежавшись по полу, остановилось у двери, которую бесшумно затворил за собой Мартын. “Кажется, беспорядок, не взыщите, – сказал Грузинов, косясь на двуспальную постель, смятую полуденной сиестой. – Садитесь в кресло, голубчик. Очень сладкие яблочки. Угощайтесь”. “Я, собственно говоря, – приступил Мартын, – вот о чем хотел с вами поговорить: у меня есть приятель, этот приятель собирается нелегально перейти из Латвии в Россию...” “Вот это возьмите, с румянцем”, – вставил Грузинов. “Я все думаю, – продолжал Мартын, – удастся ли ему это? Предположим, – он отлично знает местность по карте, – но ведь этого недостаточно, – ведь повсюду пограничники, разведка, шпионы. Я хотел попросить вас – ну что ли, разъяснить”. Грузинов, облокотясь на стол, ел яблоко, вертел его, отхватывая то тут, то там хрустящий кусок и опять вертел, выбирая новое место для нападения. “А зачем вашему приятелю туда захаживать?” – осведомился он, бегло взглянув на Мартына. “Не знаю, он это скрывает. Кажется, хочет повидать родных в Острове или в Пскове”. “Какой паспорт?” – спросил Грузинов. “Иностранный, он иностранный подданный, – литовец, что ли”. “Так что же, – визы ему не дают?” “Этого я не знаю, – он кажется не хочет визы, ему нравится сделать это по-своему. А может быть действительно не дают...” Грузинов доел яблоко и сказал: “Я все ищу антоновского вкуса, – иногда, кажется, как будто нашел, – а присмакуюсь, – нет, все-таки, не то. А насчет виз вообще – сложно. Я вам никогда не рассказывал историю, как мой шурин перехитрил американскую квоту?” “Я думал, вы что-нибудь посоветуете”, – неловко проговорил Мартын. “Чудак-человек, – сказал Грузинов, – ведь ваш приятель наверное лучше знает”. “Но я беспокоюсь за него...” – тихо произнес Мартын и с грустью подумал, что разговор выходит отнюдь не таким, каким он его воображал, и что Юрий Тимофеевич никогда не расскажет, как он сам множество раз переходил границу. “И понятно, что беспокоитесь, – сказал Грузинов. – Особенно, если он новичок. Впрочем, проводник там всегда найдется”. “Ах, нет, это опасно, – воскликнул Мартын, – нарвется на предателя”. “Ну конечно, следует быть осторожным”, – согласился Грузинов и, потирая ладонью глаза, внимательно, сквозь толстые белые пальцы, посмотрел на Мартына. “И очень важно, конечно, знать местность”, – добавил он вяло.

Тогда Мартын проворно вынул небольшую в трубку свернутую карту. Он знал ее наизусть, не раз забавлялся тем, что чертил ее не глядя, – но теперь следовало скрыть свое знание. “Я, видите ли, даже запасаю картой, – сказал он непринужденно. – Мне, например кажется, что Коля перейдет вот здесь, или здесь”. “Ах, его зовут Колей, – сказал Грузинов. – Запомним, запомним. А карта хорошая. Пойдите...” (появился футляр, чмокнув, открылся, блеснули очки)... “Значит, позвольте, – какой, масштаб? – о, прекрасно... – вот – Режица, вот Пыталово, на самой черте. У меня был приятель, тоже, по странному совпадению, Коля, который раз перешел речку бродом и пошел вот так, а в другой раз начал здесь, – и лесом, лесом, – очень густой лес, – Рогожинский, вот, а теперь, если взять на северо-восток...

Грузинов теперь говорил живо и все ускорял речь, вода острием разогнутой английской булавы по карте, – и в одну минуту наметил полдюжины маршрутов, и все сыпал названиями деревень, призывал к жизни невидимые тропы, – и чем оживленнее он говорил, тем яснее становилось Мартыну, что Грузинов над ним издевается. Вдруг донеслись из сада два женских голоса, странно выкрикивающих фамилию Юрия Тимофеевича. Он высунулся. Барышни-англичанки (барышням, вообще, он нравился, – разыгрывал перед ними байбака, простака) звали его есть мороженое. “Вот пристающие, – сказал Грузинов, – я все равно мороженого никогда не ем”. Мартыну показалось, что уже где-то, когда-то были сказаны эти слова (как в “Незнакомке” Блока), и что тогда, как и теперь, он чем-то был озадачен, что-то пытался объяснить. “Вот мой совет, – сказал Грузинов, ловко свернув карту и протянув ее Мартыну. – Передайте Коле, чтоб он оставался дома и занимался чем-нибудь дельным. Хо-

роший малый, должно быть, – и было бы жаль, если бы он заплутал”. “Он в этом лучше меня смыслит”, – мстительно ответил Мартын.

Спустились в сад. Мартын все время усиленно улыбался и чувствовал ненависть к Грузинову, к его холодным глазам, к сливочно-белому непроницаемому лбу. Но одно было хорошо: вот, разговор произошел, это минуло, – обошелся, как с мальчишкой, – черт с ним, совесть чиста, теперь можно спокойно уложить вещи и уехать.

ГЛАВА XLV

В день отъезда он проснулся очень рано, как, бывало, в детстве, в рождественское утро. Мать, по английскому обычаю, осторожно входила среди ночи и подвешивала к изножью кровати чулок, набитый подарками. Для пушей убедительности она нацепляла ватную бороду и надевала мужнин башлык. Мартын, проснись он ненароком, видел бы воочию святого Николая. И вот, утром, при ярко-желтом блеске лампы и под мрачным взглядом зимнего петербургского рассвета, – с коричневым небом над темным домом напротив, где снег провел карнизы белилами, – Мартын ощупывал длинный материнский чулок, хрустящий, туго набитый почти доверху пакетиками, которые просвечивали через шелк, и, замирая, совал в него руку, начинал вытаскивать и разворачивать зверьков, бонбоньерки, – все предисловие к большому подарку, – к паровозу и вагонам и рельсам (из которых можно составлять огромные восьмерки), ожидавшим его попозже, в гостинной. И нынче тоже Мартына ожидал поезд, этот поезд уходил из Лозанны под вечер и около девяти утра прибывал в Берлин. Софья Дмитриевна, уверенная, что сын едет только затем, чтобы повидаться с маленькой Зилановой, и замечавшая, что нет из Берлина писем, и терзавшаяся мыслью, что маленькая Зиланова недостаточно быть может любит его и окажется дурной женой, старалась как можно веселее обставить его отъезд и, под видом несколько лихорадочной бодрости, скрывала и тревогу свою и огорчение, что вот, едва приехав, он уже покидает ее на целый месяц. Дядя Генрих, у которого раздулся флюс, был за обедом угрюм и неразговорчив. Мартын посмотрел на перечницу, к которой дядя потянулся, и ему показалось, что эту перечницу (изображавшую толстого человечка с дырочками в серебряной лысине) он видит в последний раз. Он быстро перевел глаза на мать, на ее худые руки в бледных веснушках, на нежный профиль ее и приподнятую бровь, – словно она дивилась жирному рагу на тарелке, – и опять ему показалось, что эти веснушки, и бровь, и рагу он видит в последний раз. Одновременно и вся мебель в комнате, и ненастный пейзаж в окне, и часы с деревянным циферблатом над буфетом, и увеличенные фотографии усатых шюртучных господ в черных рамах, – все как будто заговорило, требуя к себе внимания в виду скорой разлуки. “Мне можно тебя проводить до Лозанны?” – спросила мать. – “Ах, я знаю, что ты не любишь проводов, – поспешила она добавить, заметив, что Мартын наморщил нос, – но я не для того, чтобы провожать тебя, а просто хочется проехаться в автомобиле, и кроме того мне нужно кое-что купить”. Мартын вздохнул. “Ну, не хочешь – не надо, – сказала Софья Дмитриевна с чрезвычайной веселостью. – Если меня не берут, я останусь. Но только ты наденешь теплое пальто, на этом я настаиваю”.

Они между собой всегда говорили по-русски, и это постоянно сердило дядю Генриха, знавшего только одно русское слово “ничего”, которое почему-то мерещилось ему символом славянского фатализма. Теперь, будучи в скверном настроении и страдая от боли в распухшей десне, он резко отодвинул стул, смахнул салфеткой крошки с живота и, посасывая зуб, ушел в свой кабинет. “Как он стар, – подумал Мартын, глядя на его седой затылок, – или это так свет падает? Такая мрачная погода”.

“Ну, что ж, тебе скоро нужно собираться, – заметила Софья Дмитриевна, – вероятно уже автомобиль подан”. Она выглянула в окно. “Да, стоит. Посмотри, как там смешно: ничего в тумане не видно, будто никаких гор нет... Правда?” “Я, кажется, забыл бритву”, – сказал Мартын.

Он поднялся к себе, уложил бритву и ночные туфли, с трудом защелкнул чемодан. Вдруг он вообразил, как будет в Риге или в Режице покупать простые, грубые вещи, – картуз, полушубок, сапоги. Быть может, револьвер? “Прощай-прощай”, – быстро пропела эта-

жерка, увенчанная черной фигуркой футболиста, которая всегда напоминала Аллу Черновитову.

Внизу, в просторной прихожей, стояла Софья Дмитриевна, заложив руки в карманы макинтоша, и напевала, как всегда делала, когда нервничала. “Остался бы дома, – сказала она, когда Мартын с ней поравнялся, – ну, что тебе ехать...” Из двери направо, над которой была голова серны, вышел дядя Генрих и, глядя на Мартына исподлобья, спросил: “Ты уверен, что взял достаточно денег?” “Вполне, – ответил Мартын. – благодарю тебя”. “Прощай, – сказал дядя Генрих. – Я с тобой прощаюсь здесь, оттого что сегодня избегаю выходить. Если бы у другого так болели зубы, как у меня, он давно был бы в сумасшедшем доме”.

“Ну, пойдем, – сказала Софья Дмитриевна, – я боюсь, что ты опоздаешь на поезд”.

Дождь, ветер. У Софьи Дмитриевны сразу растрепались волосы, и она все гладила себя по ушам. “Постой, – сказала она, не доходя калитки сада, близ двух еловых стволов, между которыми летом натягивался гамак. – Постой же, я хочу тебя поцеловать”. Он опустил чемодан наземь. “Поклонись ей от меня”, – шепнула она с многозначительной улыбкой, – и Мартын кивнул (“Поскорей бы уехать, это невыносимо...”).

Шофер услужливо открыл калитку. Сыро блестел автомобиль, дождь слегка звенел, ударяясь в него. “И пожалуйста, пиши, хоть раз в неделю”, – сказала Софья Дмитриевна. Она отступила и с улыбкой замахала рукой, и, шурша по грязи, черный автомобиль скрылся за еловой просадью.

ГЛАВА XLVI

Ночь в вагоне, – в укачиваемом вагоне темно-дикого цвета, – длилась без конца: мгновениями Мартын проваливался в сон и, содрогнувшись, просыпался, и опять катился вниз – словно с американских гор, и опять взлетал, и среди глухого стука колес улавливал дыхание пассажира на нижней койке, равномерный храп, как бы участвующий в общем движении поезда.

Задолго до приезда, пока все еще в вагоне спали, Мартын спустился со своей вышки и, захватив с собой губку, мыло, полотенце и складной таз в непромокаемом чехле, прошел в уборную. Там, предварительно распластав на полу листы купленного в Лозанне “Таймза”, он выправил валкие края резиновой ванны и, скинув пижаму, облепил мыльной пеной все свое крепкое, темное от загара тело. Было тесновато, сильно качало, чувствовалась какая-то сквозная близость бегущих рельс, была опасность ненароком коснуться стенки; но Мартын не мог обойтись без утренней ванны, видя в этом своего рода героическую оборону: так отбивается упорная атака земли, наступающей едва заметным слоем пыли, точно ей не терпится – до срока – завладеть человеком. После ванны, как бы дурно он ни спал, Мартын проникался благодатной бодростью. В такие минуты мысль о смерти, о том, что когда-нибудь – и, может быть, – как знать? – скоро – придется сдаться и проделать то, что проделали биллионы, триллионы людей, эта мысль о неминуемой, общедоступной смерти, едва волновала его, и только постепенно к вечеру она входила в силу и к ночи раздувалась иногда до чудовищных размеров. Мартыну казалось, что в обычае казнить на рассвете есть милосердие: дай Бог, чтобы это случилось утром, когда человек владеет собой, – покашливает, улыбается и вот – стал и раскинул руки.

Выйдя на дебаркадер Ангальтского вокзала, он с наслаждением вдохнул дымно-холодный утренний воздух. Вдали, с той стороны, откуда пришел поезд, видно было в пролете железно-стеклянного свода чистое, бледно-голубое небо, блеск рельс, и, по сравнению с этой светлостью, здесь, под сводом, было темновато. Он прошел мимо тусклых вагонов, мимо громадного, шипящего, потного паровоза, и, отдав билет в человеческую руку контрольной будки, спустился по ступеням и вышел на улицу. Из привязанности к образам детства, он решил избрать исходной точкой своего путешествия вокзал Фридриха, где некогда ловила норд-экспресс русская семья, жившая в Континентале. Чемодан был изрядно тяжел, но Мартын чувствовал такую неусидчивость, такое волнение, что отправился пешком; однако, дойдя до угла Потсдамской улицы, он ощутил сильный голод, прикинул оставшееся расстояние и благо разумно сел в автобус. С самого начала этого необыкновенного дня все его

чувства были заострены, – ему казалось, что он запоминает лица всех встречных, воспринимает живее, чем когда-либо, цвета, запахи, звуки, – и автомобильные рожки, которые, бывало, в дождливые ночи терзали слух отвратительным сырým хрюканием, теперь звучали как-то отрешенно, мелодично и жалобно. Сидя в автобусе, он услышал недалеко от себя перелив русской речи. Пожилая чета и двое круглоглазых мальчиков. Старший устроился поближе к окну, младший несколько напирал на брата. “Ресторан”, – сказал старший с восторгом. “Мотри, ресторан”, – сказал младший, напирая. “Сам вижу”, – огрызнулся старший. “Это ресторан”, – сказал младший убежденно. “А ты, дурак, заткнись”, – проговорил старший. “Это еще не Линден?” – заволновалась мать. “Это еще Почтамер”, – веско сказал отец. “Почтамер уже проехали”, – закричали мальчики, и вспыхнул короткий спор. “Арка, во класс!” – восхитился старший, тыча в стекло пальцем. “Не ори так”, – заметил отец. “Чего?” “Говорю, не ори.” Тот обиделся: “Я, во-первых, сказал тихо и вовсе не орал”. “Арка”, – с почтением произнес младший. Все загляделись на вид Бранденбургских ворот. “Исторические места”, – сказал старший мальчик. “Да, старинная арка”, – подтвердил отец. “Как же он пролезет”, – спросил старший, тревожась за бока автобуса. – Ужина-то какая!” “Пролез”, – прошептал младший с облегчением. “Это Унтер, – всполошилась мать. – Надо вылазить!” “Унтер длинный-длинный”, – сказал старший мальчик. – Я на карте видел”. “Это Президент страсе”, – мечтательно проговорил младший. “Заткнись, дурак! Это Унтер”. Затем все вместе хором: “Унтер длинный-длинный”, и мужское соло: “Век будем ехать...”

Тут Мартын вышел и, идя по направлению к вокзалу, он со странной печалью вспомнил свое детство, свое детское волнение, – такое же и совсем другое. Но это было только мгновенное сопоставление: оно пропело и замерло.

Сдав чемодан на хранение и взяв билет до Риги на вечерний поезд, он уселся в гулком зале буфета, заказал аргусоподобную глазунью и в последнем номере “Зарубежного Дела”, которое читал, пока ел, нашел между прочим ехиднейшую критику на бубновскую “Каравеллу”. Насытившись, он закурил и огляделся. За соседним столом сидела барышня, что-то писала и вытирала слезы, – а потом смутными и влажными глазами взглянула на него, прижав к губам карандаш, и, найдя нужное слово, продолжала быстро писать, держа карандаш, как дети, почти у самого острия и напряженно скрючив палец. Открытое на груди черное пальто с потрепанной заячьей шкуркой на вороте, янтарные бусы, нежная белизна шеи, платок, зажатый в кулаке... Он расплатился и принялся ждать, когда она встанет, чтобы последовать за ней; но, кончив писать, она облокотилась на стол, глядя вверх и полуоткрыв губы. Так она сидела долго, и где-то за стеклами уходили поезда, и Мартын, которому следовало не опоздать в консульство, решил подождать еще пять минут, не больше. Пять минут прошло. “Я бы условился с ней где-нибудь кофе выпить, – только это”, – умоляюще подумал он и представил себе, как будет ей намекать на далекий путь, на опасность, и как она будет плакать. Прошла еще одна минута. “Хорошо, не надо”, – сказал Мартын и, английским манером перебросив через плечо макинтош, направился к выходу.

ГЛАВА XLVII

Быстро шелестел открытый таксомотор, пестрел кругом великолепный Тиргартен, и прекрасны были теплые, рыжие оттенки листвы, – “унылая пора, очей очарованье”... Дальше в воду канала гляделись пышные, блеклые каштаны, а проезжая по мосту, Мартын отметил, что у каменного льва Геракла отремонтированная часть хвоста все еще слишком светлая и вероятно не скоро примет матерую окраску всей группы: сколько еще лет, – десять, пятнадцать? Почему так трудно вообразить себя сорокалетним человеком?

В Латвийском консульстве, в подвальном этаже, было оживленно и тесно. “Тук-тук”, – стучал штемпель. Через несколько минут швейцарец Эдельвейс уже вышел оттуда и неподалеку, в мрачном особняке, получил, по дешевой цене, литовскую проездную визу.

Теперь можно было отправиться к Дарвину. Гостиница находилась против Зоологического сада. “Он уже ушел, – ответил человек в конторе. – Нет, я не знаю, когда он вернется”.

“Как досадно, – подумал Мартын, выходя опять на улицу. – Надо было ему указать точную дату, а не просто “на днях”. Промах, промах... Как это досадно”. Он посмотрел на

часы. Половина двенадцатого. Паспорт был в порядке, билет куплен. День, который намечался столь нагруженным всякими делами, вдруг оказался пустым. Что делать дальше? Пойти в Зоологический сад? Написать матери? Нет, это потом.

И пока он так размышлял, все время в глубине сознания происходила глухая работа. Он противился ей, старался ее не замечать, ибо твердо решил еще во Франции, что больше Соню не увидит никогда. Но берлинский воздух был Сонею насыщен, – вон там, в Зоологическом саду, они вместе глазели на румяно-золотого китайского фазана, на чудесные ноздри гиппопотама, на желтую собаку Динго, так высоко прыгавшую. “Она сейчас на службе, – подумал Мартын, – а к Зилановым все-таки нужно зайти...”

Поплыл, разматываясь, Курфюрстендам. Автомобили обгоняли трамвай, трамвай обгонял велосипеды; потом мост, дым поездов далеко внизу, тысяча рельс, загадочно-голубое небо; поворот и осенняя прелесть Груневальда.

И дверь ему открыла именно Соня. Она была в черной вязаной кофточке, слегка растрепанная, тусклые раскосые глаза казались заспанными, на бледных щеках были знакомые ямки. “Кого я вижу?” – протянула она и низко-низко поклонилась, болтая опущенными руками. “Ну, здравствуй, здравствуй”, – сказала она, разогнувшись, и одна черная прядь дугой легла по виску. Она отмахнула ее движением указательного пальца. “Пойдем”, – сказала она и пошла вперед по коридору, мягко топая ночными туфлями. “Я боялся, что ты на службе”, – проговорил Мартын, стараясь не смотреть на ее прелестный затылок. “Голова болит”, – сказала она, не оглядываясь и, тихонько крикнув, подняла на ходу половую тряпку и бросила ее на сундук. Вошли в гостиную. “Присаживайся и все говори”, – сказала она, плюхнулась в кресло, тут же привстала, подобрала под себя ногу и уселась опять.

В гостиной все было то же, темный Беклин на стене, потрепанный плюш, какие-то вечные бледнолистые растения в вазе, удручающая люстра в виде плывущей хвостатой женщины, с бюстом и головой баварки и с оленьими рогами, растущими отовсюду.

“Я, собственно говоря, приехал сегодня, – сказал Мартын и стал закуривать. – Я буду здесь работать. То есть, собственно говоря, не здесь, а в окрестностях. Это фабрика, и я, значит, как простой рабочий”. “Да ну”, – протянула Соня и добавила, заметив его ищущий взгляд: “Ничего, брось прямо на пол”. “И вот такая забавная вещь, – продолжал Мартын. – Я, видишь ли, собственно, не хочу, чтобы моя мать знала, что я работаю на фабрике. Так что, если она случайно Ольге Павловне напишет, – она, знаешь, иногда любит таким окружным путем узнать, здоров ли я и так далее, – вот, понимаешь, тогда нужно ответить, что часто у вас бываю. Я, конечно, буду очень, очень редко бывать, некогда будет”.

“Ты подурнел, – задумчиво сказала Соня. – Огрубел как-то. Это, может быть, от загара”.

“Скитался по всему югу Франции, – сипло проговорил Мартын, ударом пальца стряхивая пепел. – Батрачил на фермах, бродяжничал, а по воскресеньям одевался барином и ездил кутить в Монте-Карло. Очень интересная вещь – рулетка. А ты что поделяешься? Все у вас здоровы?”

“Предки здоровы, – сказала со вздохом Соня, – а вот с Ириной прямо беда. Это крест какой-то... Ну и с деньгами полный мрак. Папа говорит, что нужно переехать в Париж. Ты в Париже тоже был?”

“Да, проездом, – небрежно ответил Мартын (день в Париже много лет тому назад, по пути из Биаррица в Берлин, дети с обручами в Тюильрийском саду, игрушечные парусники на воде бассейна, старик, кормящий воробьев, серебристая сквозная башня, склеп Наполеона, где колонны похожи на витые сюкр д'орж...). – Да, проездом. А знаешь, между прочим, какая новость, – Дарвин здесь”.

Соня улыбнулась и заморгала. “Ах, приведи его! Приведи его непременно, это безумно интересно”.

“Я его еще не видал. Он здесь по делам Морнинг Ньюса. Его, знаешь, посылали в Америку, настоящим стал журналистом. А главное, – у него есть в Англии невеста, и он весной женится”.

“Да ведь это восхитительно, – тихо проговорила Соня. – Все, как по писаному. Я так ясно представляю ее, – высокая, глаза, как тарелки, а мать вероятно очень на нее похожа, только суше и краснее. Бедный Дарвин!”

“Чепуха, – сказал Мартын, – я уверен, что она очень хорошенькая и умная”.

“Ну, еще что-нибудь расскажи”, – попросила Соня после молчания. Мартын пожал плечами. Как он поступил опрометчиво, пустив в оборот сразу весь свой разговорный запас. Ему казалось дико, что вот, перед ним, в двух шагах от него, сидит Соня, и он не смеет ничего ей сказать важного, не смеет намекнуть на последнее ее письмо, не смеет спросить, выходит ли она за Бубнова замуж, – ничего не смеет. Он попытался вообразить, как будет вот тут, в этой комнате сидеть после возвращения, как она будет слушать его, – и неужели он, как сейчас, все выпалить разом, неужели Соня так же, как сейчас, будет сквозь шелк почесывать голень и глядеть мимо него на вещи, ему неизвестные? Он подумал, что вероятно пришел некстати, что быть может она ждет кого-нибудь, и что с ним ей тягостно. Но уйти он не мог, как не мог придумать ничего занимательного, и Соня своим молчанием как бы нарочно старалась довести его до крайности, – вот он совсем потеряется и выболтает все, – и про экспедицию, и про любовь, и про все то сокровенное, заповедное, чем связаны были между собой эта экспедиция и его любовь, и “унылая пора, очей очарованье”.

Стукнула дверь в прихожей, раздались шаги, и в гостиную вошел с портфелем подмышкой Зиланов. “А, очень рад, – сказал он. – Как поживает ваша матушка?” Погодя появилась из другой двери Ольга Павловна и задала тот же вопрос. “Откушайте с нами”, – сказала она. Перешли в столовую. Ирина, войдя, застыла, и вдруг кинулась к Мартыну и принялась его целовать мокрыми губами. “Ира, Ирочка”, – с виноватой улыбкой приговаривала ее мать. На большом блюде были маленькие черные котлетки. Зиланов развернул салфетку и заложил угол за воротник.

За обедом Мартын показал Ирине, как нужно скрестить третий и второй палец, чтобы, касаясь ими хлебного шарика, осязать не один шарик, а два. Она долго не могла приладить руку, но, когда, наконец, с помощью Мартына, шарик под ее пальцами волшебным образом раздвоился, Ирина заворковала от восторга. Как обезьянка, которая, видя свое отражение в осколке зеркала, подглядывает снизу, нет ли там другой обезьянки, она все пригибала голову, думая, что и впрямь под пальцами два катыша; когда же Соня после обеда повела Мартына к телефону, находившемуся за углом коридора, возле кухни, Ирина со стоном кинулась за ними, боясь, что Мартын совсем уходит, а убедившись, что это не так, вернулась в столовую и полезла под стол отыскивать закатившийся шарик. “Я хочу, собственно говоря, позвонить Дарвину, – сказал Мартын. – Нужно посмотреть в книжке, как номер гостиницы”. У Сони озарилось лицо, она сказала, захлебываясь: “Ах, дай мне, я сама, я с ним поговорю, это будет восхитительно. Я, знаешь, его хорошенько заинтригую”. “Нет, не надо, зачем же”, – ответил Мартын. “Ну, тогда я только соединю. Ведь соединить можно? Как номер?” Она наклонилась над телефонным фолиантом, в который он глядел, и пахло теплом от ее головы; на щеке, под самым глазом, была блудная ресничка. Вполголоса скороговоркой повторяя номер, чтобы его не забыть, она села на сундук и сняла трубку. “Только соединить, помни”, – строго заметил Мартын. Соня со старательной ясностью сказала номер и принялась ждать, бегая глазами и мягко стуча пятками о стенку сундука. Потом она улыбнулась, прижав еще плотнее трубку к уху, и Мартын протянул руку, но Соня ее оттолкнула плечом, и вся сгорбилась, звонко прося Дарвина к телефону. “Дай мне трубку, – сказал Мартын. – Это нечестно”. Соня еще больше собралась. “Я разъединю”, – сказал Мартын. Она сделала резкое движение, чтобы защитить рычажок, и в это же мгновение настороженно подняла брови. “Нет, спасибо, ничего”, – сказала она и повесила трубку. “Дома нет, – обратилась она к Мартыну, глядя на него исподлобья. – Можешь быть спокоен, я больше не позвоню. А ты какой был невежа, такой и остался”. “Соня”, – протянул Мартын. Она соскользнула с сундука, надела, шаркая, свалившуюся туфлю и пошла в столовую. Там убирали со стола, Елена Павловна говорила что-то Ирине, которая от нее отворачивалась. “Я вас еще увижу?” – спросил Зиланов. “Да я не знаю, – сказал Мартын. – Мне уже, пожалуй, нужно идти”. “На всякий случай я с вами попрощаюсь”, – проговорил Зиланов и ушел работать к себе в спальню...

“Не забывайте нас”, – сказали Ольга и Елена Павловны вместе и, улыбнувшись, тронули друг дружку за рукава черных платьев. Мартын поклонился. Ирина приложила руку к груди и вдруг бросилась к нему и вцепилась в отвороты его пиджака. Он смутился, попробовал осторожно разжать ее пальцы; но она держала его крепко, а когда мать взяла ее сзади

за плечи, Ирина в голос зарыдала. Мартын невольно поморщился, глядя на ужасное выражение ее лица, на красную сыпь между бровями. Резким, чуть грубым движением он оторвал ее пальцы. Ее увлекли в другую комнату, ее грудной рев удалился, замер. “Вечные истории”, – сказала Соня, провожая Мартына в прихожую. Мартын надел макинтош, – макинтош был сложный, и для устройства пояса требовалось некоторое время. “Заходи как-нибудь вечером”, – сказала Соня, глядя на его манипуляции и держа руки в передних карманчиках черной своей кофточки. Мартын хмуро покачал головой. “Собираемся и танцуем”, – сказала Соня и тесно сложив ноги, двинула носками, потом пятками, опять носками, опять пятками, чуть подвигаясь вбок. “Ну вот, – промолвил Мартын, хлопая себя по карманам. – Пакетов у меня, кажется, не было”. “Помнишь?” – спросила Соня и тихо засвистала мотив лондонского фокстрота. Мартын прочистил горло. “Мне не нравится твоя шляпа, – заметила она. – Теперь так не носят”. “Прощай”, – сказал Мартын и очень ловко сгреб Соню, толкнулся губами в ее оскаленные зубы, в щеку, в нежное место за ухом, отпустил ее (при чем она попятилась и чуть не упала) и быстро ушел, невольно хлопнув дверью.

ГЛАВА XLVIII

Он заметил, что улыбается, что запыхался, что сильно бьется сердце. “Ну вот, ну вот”, – сказал он вполголоса и размашистым шагом пошел по панели, словно куда-то спешил. Спешить же было некуда. Отсутствие Дарвина путало его расчеты; меж тем до отхода поезда оставалось еще несколько часов. Возвратившись пешком по Курфюрстендаму, он со смутной грустью смотрел на знакомые подробности Берлина; вот суровая церковь на перекрестке, такая одинокая среди языческих кинематографов. Вот Тауэнциенская, где пешеходы почему то избегают проложенного посередине бульвара, предпочитая тесно течь вдоль витрин. Вот слепец, продающий свет, – протягивающий в вечную тьму вечный коробок спичек; лотки с вереском и астрами, лотки с бананами и яблоками; человек в рыжем пальто, стоящий на сидении старого автомобиля и всею державший плитки безымянного шоколада, о волшебном качестве которого он речисто рассказывает кучке зевак. Мартын завернул за угол, зашел в русский магазин купить книжку. Учтивый полный господин, несколько похожий на черепаху, выложил на прилавок то, что зовется “новинки”. Ничего не найдя, Мартын купил “Панч” и опять оказался на улице. Тут он с чувством неудовлетворенности вдруг вспомнил скудный зилановский обед. Рассчитав, что из ресторана уместно будет еще раз позвонить Дарвину, он направился в “Пир Горой”, где в прошлом году столовался. Из гостиницы ему ответили, что Дарвин еще не вернулся. “Двадцать пфеннигов с вас, – сказала напудренная дама за прилавком. – Мерси”.

Хозяином ресторана являлся тот самый художник Данилевский, который бывал в Адриате, – небольшого роста, пожилой уже человек, в стоячем воротнике, с румяным детским лицом и русой бородавкой под глазом. Он подошел к столику Мартына и застенчиво спросил: “Ба-барщок вкусный?” – (он испытывал странное тяготение как раз к тем звукам, которые ему трудно давались). “Очень”, – ответил Мартын и, – как всегда, с чувством щемящей нежности, – увидел Данилевского на фоне крымской ночи.

Тот сел боком к столу, поощрительно глядя, как Мартын хлебает суп. “Я вам говорил, что по некоторым сведениям они-бы, они-бы, они безвыездно живут в усадьбе, – удивительно...”

(“Неужели их не трогают? – подумал Мартын. – Неужели все осталось по-прежнему, – эти, например, сушеные маленькие груши на крыше веранды?”).

“Могикане”, – задумчиво сказал Данилевский.

В зале было пусто. Плюшевые диванчики, печка с коленчатой трубой, газеты на дровяках.

“Все это изменится к лучшему. Знаете, я-бы бабами, большими бабами, хотел расписать стены, если бы это не было так грустно. Одежды – прямо пожары, но бледные лица с глазами лошадей. Так у меня выходит, по крайней мере. Яп, яп, пробовал. Или можно тут, а внизу, а внизу – опушку. Помещение мы расширим, тут, тут и там все снимем, я вчера звонил мастера, но он почему-то не пришел”.

“Много бывает народу?” – спросил Мартын.

“Обыкновенно – да. Сейчас не обеденный час, не судите. Но вообще... И хорошо представлена литературная бы-ратья. Ракитин, например, ну, знаете, журналист, всегда в гетрах, большой проникер... А на днях, бу, а на днях, бу, Сережа Бубнов, буй, буй, – неистовствовал, бил посуду, у него запой, любовное несчастье, нехорошо, – а ведь это же жениховством па-пахло”.

Данилевский вздохнул, постукал пальцами по столу и, медленно встав, ушел на кухню. Он опять появился, когда Мартын снимал свою шляпу с вешалки. “Завтра шашлык, – сказал Данилевский, – ждем вас”, – и у Мартына мелькнуло желание сказать что-нибудь очень хорошее этому милому, грустному, так мелодично заикающемуся человеку; но что, собственно, можно было сказать?

ГЛАВА XLIX

Пройдя через мощеный двор, где посредине, на газоне, стояла безногая статуя и росло несколько туй, он толкнул знакомую дверь, поднялся по лестнице, отзывавшей капустой и кошками, и позвонил. Ему открыл молодой немец, один из жильцов, и, предупредив, что Бубнов болен, постучал на ходу к нему в дверь. Голос Бубнова хрипло и уныло завопил: “Херайн”.

Бубнов сидел на постели, в черных штанах, в открытой сорочке, лицо у него было опухшее и небритое, с багровыми веками. На постели, на полу, на столе, где мутной желтизной сквозил стакан чаю, валялись листы бумаги. Оказалось, что Бубнов одновременно заканчивает новеллу и пытается составить по-немецки внушительное письмо Финансовому ведомству, требующему от него уплаты налога. Он не был пьян, однако и трезвым его тоже нельзя было назвать. Жажда по-видимому у него прошла, но все в нем было искривлено, расшатано ураганом, мысли блуждали, отыскивали свои жилища, и находили развалины. Не удивившись вовсе появлению Мартына, которого он не видел с весны, Бубнов принялся разносить какого-то критика, – словно Мартын был ответственен за статью этого критика. “Травят меня”, – злобно говорил Бубнов, и лицо его с глубокими глазными впадинами было при этом довольно жутко. Он был склонен считать, что всякая бранная рецензия на его книги подсказана побочными причинами, – завистью, личной неприязнью или желанием отомстить за обиду. И теперь, слушая его довольно бессвязную речь о литературных интригах, Мартын дивился, что человек может так болеть чужим мнением, и его подмывало сказать Бубнову, что его рассказ о Зоорландии – неудачный, фальшивый, никуда негодный рассказ. Когда же Бубнов, без всякой связи с предыдущим, вдруг заговорил о сердечной своей беде, Мартын проклял дурное любопытство, заставившее его сюда придти. “Имени ее не назову, не спрашивай, – говорил Бубнов, переходивший на ты с актерской легкостью, – но помни, из-за нее еще не один погибнет. А как я любил ее... Как я был счастлив. Огромное чувство, когда, знаешь, гремят ангелы. Но она испугалась моих горних высот...”

Мартын посидел еще немного, почувствовал наплыв невозможной тоски и молча поднялся. Бубнов, всхлипывая, проводил его до двери. Через несколько дней (уже в Латвии) Мартын нашел в русской газете новую бубновскую “новеллу”, на сей раз превосходную, и там у героя-немца был Мартынов галстук, бледно-серый в розовую полоску, который Бубнов, казавшийся столь поглощенным горем, украл, как очень ловкий вор, одной рукой вынимающий у человека часы, пока другою вытирает слезы.

Зайдя в писчебумажную лавку, Мартын купил полдюжины открыток и наполнил свое обмелевшее автоматическое перо, после чего направился в гостиницу Дарвина, решив там прождать до последнего возможного срока, и уже прямо оттуда ехать на вокзал. Было около пяти, небо затуманилось, – белесое, невеселое. Глуше, чем утром, звучали автомобильные рожки. Проехал открытый фургон, запряженный парой тощих лошадей, и там громоздилась целая обстановка, – кушетка, комод, море в золоченой раме и еще много всякой другой грустной рухляди. Через пятнистый от сырости асфальт прошла женщина в трауре, катя колясочку, в которой сидел синеглазый внимательный младенец и, докатив колясочку до панели, она нажала и вздыбила ее. Пробежал пудель, догоняя черную левретку; та боязливо

оглянулась, дрожа и подняв согнутую переднюю лапу. “Что это в самом деле, – подумал Мартын. – Что мне до всего этого? Ведь я же вернусь. Я должен вернуться”. Он вошел в холл гостиницы. Оказалось, что Дарвина еще нет.

Тогда он выбрал в холле удобное кожаное кресло и, отвинтив колпачок с пера, принялся писать матери. Пространство на открытке было ограниченное, почерк у него был крупный, так что вместились немного. “Все благополучно, – писал он, сильно нажимая на перо. – Остановился на старом месте, адресуй туда же. Надеюсь, дядин флюс лучше. Дарвина я еще не видал. Зилановы передают привет. Напишу опять не раньше недели, так как ровно не о чем. Many kisses”. Все это он перечел дважды, и почему то сжалось сердце, и прошел по спине холод. “Ну, пожалуйста, без глупостей”, – сказал себе Мартын и, опять сильно нажимая, написал майорше с просьбой сохранять для него письма. Опустив открытки, он вернулся, откинулся в кресле и стал ждать, поглядывая на стенные часы. Прошло четверть часа, двадцать минут, двадцать пять. По лестнице поднялись две мулатки с необыкновенно худыми ногами. Вдруг он услышал за спиной мощное дыхание, которое тотчас узнал. Он вскочил, и Дарвин огрел его по плечу, издавая гортанные восклицания. “Негодяй, негодяй, – радостно забормотал Мартын, – я тебя ишу с утра”.

ГЛАВА I

Дарвин как будто слегка пополнел, волосы поредели, он отпустил усы, – светлые, подстриженные, вроде новой зубной щетки. И он и Мартын были почему-то смущены, и не знали, о чем говорить, и все трепали друг друга, посмеиваясь и урча. “Что же ты будешь пить, – спросил Дарвин, когда они вошли в тесный, но нарядный номер, – виски и соду? коктейль? или просто чай?” “Все равно, все равно, что хочешь”, – ответил Мартын и взял со столика большой снимок в дорогой раме. “Она”, – лаконично заметил Дарвин. Это был портрет молодой женщины с диадемой на лбу. Сросшиеся на переносице брови, светлые глаза и лебединая шея, – все было очень отчетливо и властно. “Ее зовут Ивлин, она, знаешь, недурно поет, я уверен, что ты бы очень с ней подружился”, – и, отобрав портрет, Дарвин еще раз мечтательно на него посмотрел, прежде, чем поставить на место. “Ну-с, – сказал он, повалившись на диван и сразу вытянув ноги, – какие новости?”

Вошел слуга с коктейлями. Мартын без удовольствия глотнул пряную жидкость и вкратце рассказал, как он прожил эти два года. Его удивило, что, как только он замолк, Дарвин заговорил о себе, подробно и самодовольно, чего прежде никогда не случалось. Как странно было слышать из его ленивых целомудренных уст речь об успехах, о заработках, о прекрасных надеждах на будущее, – и оказывается писал он теперь не прежние очаровательные вещи о пиявках и закатах, а статьи по экономическим и государственным вопросам, и особенно его интересовал какой-то мораториум. Когда же Мартын, во время неожиданной паузы, напомнил ему о давнем, смешном, кембриджском, – о горящей колеснице, о Розе, о драке, – Дарвин равнодушно проговорил: “Да, хорошие были времена”, – и Мартын с ужасом отметил, что воспоминание у Дарвина умерло или отсутствует, и осталась одна выцветшая вывеска.

“А что поделявает Вадим?” – сонно спросил Дарвин.

“Вадим в Брюсселе, – ответил Мартын, – кажется, служит. А вот Зилановы тут, я часто выдаюсь с Соней. Она все еще не вышла замуж”.

Дарвин выпустил огромный клуб дыма. “Привет ей, привет, – сказал он. – А вот ты... Да, жалко, что ты все как-то треплешься. Вот я тебя завтра кое с кем познакомлю, я уверен, что тебе понравится газетное дело”.

Мартын кашлянул. Настало время заговорить о самом важном, – о чем он еще недавно так мечтал с Дарвином поговорить.

“Спасибо, – сказал он, – но это невозможно, – я через час уезжаю из Берлина”.

Дарвин слегка привстал: “Вот те на. Куда же?”

“Сейчас узнаешь. Сейчас я тебе расскажу вещи, которых не знает никто. Вот уже несколько лет, – да, несколько лет, – но это неважно...”

Он запнулся. Дарвин вздохнул и сказал: “Я уже понял. Буду шафером”.

“Не надо, прошу тебя. Ведь я же серьезно. Я, знаешь ли, специально сегодня добивался тебя, чтобы поговорить. Дело в том, что я собираюсь нелегально перейти из Латвии в Россию, – да, на двадцать четыре часа, – и затем обратно. А ты мне нужен вот почему, – я дам тебе четыре открытки, будешь посылать их моей матери по одной в неделю, – скажем, каждый четверг. Вероятно я вернусь раньше, – я не могу сказать наперед, сколько мне потребуется времени, чтобы сначала обследовать местность, выбрать маршрут и так далее... Правда, я уже получил очень важные сведения от одного человека. Но кроме всего может случиться, что я застряну, не сразу выберусь. Она, конечно, ничего не должна знать, должна аккуратно получать письма. Я дал ей мой старый адрес, – это очень просто”.

Молчание.

“Да, конечно, это очень просто”, – проговорил Дарвин.

Опять молчание.

“Я только не совсем понимаю, зачем это все”.

“Подумай и поймешь”, – сказал Мартын.

“Заговор против добрых старых советов? Хочешь кого-нибудь повидать? Что-нибудь передать, устроить? Признаюсь, я в детстве любил этих мрачных бородачей, бросающих бомбы в тройку жестокого наместника”.

Мартын хмуро покачал головой.

“А если ты просто хочешь посетить страну твоих отцов – хотя твой отец был швейцарец, неправда ли? – но если ты так хочешь ее посетить, не проще ли взять визу и переехать границу в поезде? Не хочешь? Ты полагаешь, может быть, что швейцарцу после того убийства в Женевском кафе не дадут визы? Изволь, – я достану тебе британский паспорт”.

“Ты все не то говоришь, – сказал Мартын. – Я думал, ты все сразу поймешь”.

Дарвин закинул руки за голову. Он все не мог решить, морочит ли его Мартын или нет, – и, если не морочит, то какие именно соображения толкают его на это вздорное предприятие. Он попытлся трубкой и сказал:

“Если, наконец, тебе нравится один только голый риск, то незачем ездить так далеко. Давай, сейчас придумаем что-нибудь необыкновенное, что можно сейчас же исполнить, не выходя из комнаты. А потом поужинаем и поедем в мюзик-холл”.

Мартын молчал, и лицо его было грустно. “Что за ерунда, – подумал Дарвин. – Тут есть что-то странное. Спокойно сидел в Кембридже, пока была у них гражданская война, а теперь хочет получить пулю в лоб за шпионаж. Морочит ли он меня или нет? Какие дурацкие разговоры...”

Мартын вдруг вздрогнул, взглянул на часы и встал.

“Послушай, будет тебе валять дурака, – сказал Дарвин, сильно дымя трубкой. – Это, наконец, просто невежливо с твоей стороны. Я тебя не видел два года. Или расскажи мне все толком, или же признайся, что шутил, – и будем говорить о другом”.

“Я тебе все сказал, – ответил Мартын. – Все. И мне теперь пора”.

Он не спеша надел макинтош, поднял шляпу, упавшую на пол. Дарвин, спокойно лежавший на диване, зевнул и отвернулся к стене. “Прощай”, – сказал Мартын, но Дарвин промолчал. “Прощай”, – повторил Мартын. “Глупости, он не уйдет”, – подумал Дарвин и зевнул опять, плотно прикрыв глаза. “Не уйдет”, – снова подумал он и сонно подобрал одну ногу. Некоторое время длилось забавное молчание. Погодя, Дарвин тихо засмеялся и повернул голову. Но в комнате никого не было. Казалось даже непонятным, как это Мартыну удалось так тихо выйти. У Дарвина мелькнула мысль, не спрятался ли Мартын. Он полежал еще несколько минут, потом, осторожно оглядывая уже полутемную комнату, спустил ноги и выпрямился. “Ну, довольно, выходи”, – сказал он, услышав легкий шорох между шкапом и дверью, где была ниша для чемоданов. Никто не вышел. Дарвин подошел и глянул в угол. Никого. Только большой кусок оберточной бумаги, оставшийся от вчерашней покупки. Он включил свет, задумался, потом открыл дверь в коридор. В коридоре было тихо, светло и пусто. “Ну его к черту”, – сказал он и опять задумался, но вдруг встряхнулся и деловито начал переодеваться к ужину.

На душе у него было беспокойно, а это с ним бывало последнее время не часто. Появление Мартына не только взволновало его, как нежный отголосок университетских дней, – оно еще было необычайно само по себе, – все в Мартыне было необычайно, – этот грубова-

тый загар, и словно запыхавшийся голос, и какое-то новое, надменное выражение глаз, и странные темные речи. Но Дарвину, последнее время жившему такой твердой, основательной жизнью, так мало волновавшемуся (даже тогда, когда объяснялся в любви), так освоившемуся с мыслью, что, после тревог и забав молодости, он вышел на гладко мощеную дорожку, – удалось справиться с необычайным впечатлением, оставленным Мартыном, уверить себя, что все это была не очень умная шутка, и что, пожалуй еще нынче, Мартын появится опять. Он уже был в смокинге и разглядывал в зеркале свою мощную фигуру и большое носатое лицо, как вдруг позвонил телефон на ночном столике. Он не сразу узнал далекий, уменьшенный расстоянием голос, зазвучавший в трубке, ибо как-то так случилось, что он никогда не говорил с Мартыном по телефону. “Напоминаю тебе мою просьбу, – мутно сказал голос. – Я пришлю тебе письма на днях, пересылай их по одному. Сейчас уходит мой поезд. Я говорю: поезд. Да-да, – мой поезд...”

Голос пропал. Дарвин со звоном повесил трубку и некоторое время почесывал щеку. Потом он быстро вышел и спустился вниз. Там он потребовал расписание поездов. Да, – совершенно правильно. Что за чертовщина...

В этот вечер он никуда не пошел, все ждал чего-то, сел писать невесте, и не о чем было писать. Прошло несколько дней. В среду он получил толстый конверт из Риги и в нем нашел четыре берлинских открытки, адресованных госпоже Эдельвейс. На одной из них он рассмотрел вкрапленную в русский текст фразу по-английски: “Я часто хожу с Дарвином в мюзик-холл”. Дарвину сделалось не по себе. В четверг утром, с неприятным чувством, что участвует в дурном деле, он опустил первую по дате открытку в синий почтовый ящик на углу. Прошла неделя; он опустил и вторую. Затем он не выдержал и поехал в Ригу, где посетил своего консула, адресный стол, полицию, но не узнал ничего. Мартын словно растворился в воздухе. Дарвин вернулся в Берлин и нехотя опустил третью открытку. В пятницу, в издательство Зиланова зашел огромный человек иностранного вида, и Михаил Платонович, всмотревшись, узнал в нем молодого англичанина, ухаживавшего в Лондоне за его дочерью. Ровным голосом, по-немецки, Дарвин изложил свой последний разговор с Мартыном и историю с пересылкой писем. “Да, позвольте, – сказал Зиланов, – позвольте, тут что-то не то, – он говорил моей дочери, что будет работать на фабрике под Берлином. Вы уверены, что он уехал? Что за странная история...” “Я сперва думал, что он шутит, – сказал Дарвин. – Но теперь я не знаю, что думать... Если он действительно – “. “Какой, однако, сумасброд, – сказал Зиланов. – Кто бы мог предположить. Юноша уравновешенный, солидный... Просто, вы знаете, не верится, тут какой-то подвох... Вот что: прежде всего следует выяснить, не знает ли чего-нибудь моя дочь. Поедьте ко мне”.

Соня, увидев отца и Дарвина и заметив что-то необычное в их лицах, подумала на короткую долю мгновения (бывают такие мгновенные кошмары), что Дарвин приехал делать предложение. “Алло, алло, Соня”, – воскликнул Дарвин с очень деланной развязностью; Зиланов же, тусклыми глазами глядя на дочь, попросил ее не пугаться и тут же, чуть ли не в дверях, все ей рассказал. Соня сделалась белой, как полотно, и опустилась на стул в прихожей. “Но ведь это ужасно”, – сказала она тихо. Она помолчала и затем легонько хлопнула себя по коленям. “Это ужасно”, – повторила она еще тише. “Он тебе что-нибудь говорил? Ты в курсе дела?” – спрашивал Зиланов. Дарвин потирал щеку, и старался не смотреть на Соню, и чувствовал самое страшное, что может чувствовать англичанин: желание зареветь. “Конечно, я все знаю”, – тонким голосом крещендо сказала Соня. В глубине показалась Ольга Павловна, и муж сделал ей знак рукой, чтобы она не мешала. “Что ты знаешь? Отвечай же толком”, – проговорил он и тронул Соню за плечо. Она вдруг согнулась вдвое и зарыдала, упершись локтями в колени и опустив на ладони лицо. Потом – разогнулась, громко всхлипнула, словно задохнувшись, переглотнула и вперемежку с рыданиями закричала: “Его убьют, Боже мой, ведь его убьют...” “Возьми себя в руки, – сказал Зиланов. – Не кричи. Я требую, чтобы ты спокойно, толково объяснила, о чем он тебе говорил. Оля, проводи этого господина куда-нибудь, – да в гостиную же, – ах, пустяки, что монтеры... Соня, перестань кричать! Испугаешь Ирину, перестань, я требую...”

Он долго ее успокаивал, долго ее допрашивал. Дарвин сидел один в гостиной. Там же монтер возился со штепселем, и электричество то гасло, то зажигалось опять.

“Девочка, конечно, права, что требует немедленных мер, – сказал Зиланов, когда он

вместе с Дарвином, опять вышел на улицу. – Но что можно сделать? И я не знаю, все ли это так романтически авантюрно, как ей кажется. Она сама всегда так настроена. Очень нервная натура. Я никак не могу понять, как молодой человек, довольно далекий от русских вопросов, скорее, знаете, иностранной складки, мог оказаться способен на... на подвиг, если хотите. Я, разумеется, кое с кем снесусь, придется, возможно, съездить в Латвию, но дело довольно безнадежное, если он действительно попытался перейти... вы знаете, так странно, ведь я же, – да, я, – когда-то сообщал фрау Эдельвейс о смерти ее первого мужа”.

Прошло еще несколько дней. Выяснилось только одно: нужно терпение, нужно ждать. Дарвин отправился в Швейцарию, – предупредить Софью Дмитриевну. Все было серо, шел мелкий дождь, когда он прибыл в Лозанну. Повыше в горах пахло мокрым снегом, капало с деревьев: ноябрь вдруг отсырел после первых морозов. Наемный автомобиль быстро довез его до деревни, скользнул шинами на повороте и опрокинулся в канаву. Шофер только расшиб себе руку; Дарвин встал, нашел шляпу, стряхнул с пальто мокрый снег и спросил у зевак, далеко ли до усадьбы Генриха Эдельвейса. Ему указали кратчайший путь, – тропинкой через еловый лес. Выйдя из лесу, он пересек проезжую дорогу и, пройдя по аллее, увидел зелено-коричневый дом. Перед калиткой, на темной земле, остался после его прохождения глубокий след от резиновых узоров его подошв; этот след медленно наполнился мутной водой, а калитка, которую Дарвин неплотно прикрыл, через некоторое время скрипнула от порыва влажного ветра и открылась, сильно качнувшись. Погода на нее села синица, поговорила, поговорила, а потом перелетела на еловую ветку. Все было очень мокро и тускло. Через час стало еще тусклее. Из глубины печального, бурого сада вышел Дарвин, прикрыл за собой калитку (она тотчас открылась опять) и пошел обратно – тропинкой через лес. В лесу он остановился и закурил трубку. Его широкое коричневое пальто было расстегнуто, на груди висели концы разноцветного кашне. В лесу было тихо, только слышалось легкое чмокание: где-то, под мокрым серым снегом, бежала вода. Дарвин прислушался и почему-то покачал головой. Табак, едва разгоревшись, потух, трубка издала беспомощный сосущий звук. Он что-то тихо сказал, задумчиво потер щеку и двинулся дальше. Воздух был тусклый, через тропу местами пролегали корни, черная хвоя иногда задевала за плечо, темная тропа вилась между стволов, живописно и таинственно.